

● Современный вид страхования — АВТО-КОМБИ!

По договору страхования авто-комби одновременно считаются застрахованными:

— автомобиль (в размере действительной стоимости),

— багаж — вещи и дополнительное оборудование автомобиля (на сумму 500 рублей),

— водитель и страхователь на сумму 1000 рублей каждый.

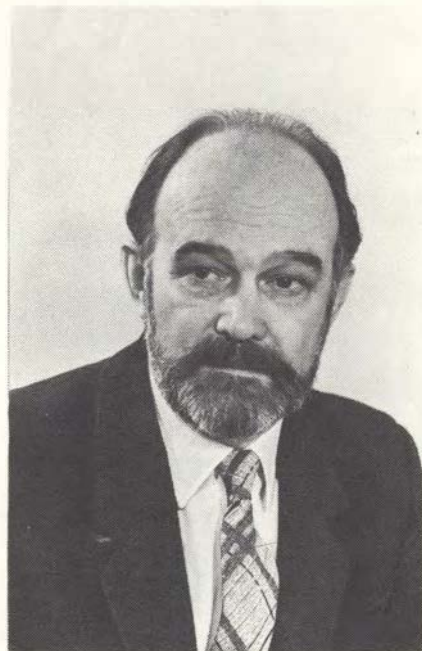
По страхованию авто-комби Госстрах возмещает ущерб, причиненный в результате аварии, пожара, стихийных бедствий, похищения (угона) автомобиля, в случае кражи отдельных его частей, деталей или предметов багажа, а также ущерб за любые повреждения, вызванные преднамеренными или неосторожными действиями третьих лиц.

Госстрах РСФСР



№ 19

1988



Владимир НИКОЛАЕВ

**МОСКОВСКИЙ
РОМАНС**

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 19

Владимир НИКОЛАЕВ

МОСКОВСКИЙ РОМАНС

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1988

Владимир НИКОЛАЕВ

Владимир Дмитриевич Николаев родился в Москве в 1925 году. С 1941 по 1947 год служил в Военно-Морском Флоте. Окончил факультет журналистики Московского университета. Сорок лет работает в печати, двадцать пять из них — в журнале «Огонек». Член Союза писателей. Автор публицистических книг о США, в том числе таких, как «Американцы» («Советский писатель», 1982 и 1985 гг.), «Ближние дали» («Современник», 1987 г.). В автобиографической повести В. Николаева «Московский романс» (публикуется ее сокращенный вариант) рассказывается о детстве и отрочестве его поколения.

Московским девушкам, юношам и подросткам, погибшим в Великую Отечественную войну.

КОРНИ

Я родился в 1925 году в Москве, но и сегодня вижу в тумане раннего детства подмосковный ткацкий городок, хотя бывал в нем всего несколько раз. Вижу, наверное, потому, что в памяти он остался вместе с песней о барабанщике, который «песню веселую пел, но пульей вражеской сраженный допеть до конца не успел».

И щемит сердце у поющих. И увлажняются глаза. Но тверже звучат дрогнувшие было голоса, выводя последний куплет:

«Промчались годы боевые,
Окончился славный поход,
Погиб наш юный барабанщик,
Но песня о нем не умрет».

Еще пели о том, как «сотня юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакала» и один из бойцов пал от вражеской пули.

Вместе со всеми пела и моя бабушка Настя, Анастасия Карповна. С нее я и начался. Так мне всегда казалось. Во всяком случае, именно через нее ощутил свою связь с тем, что было до меня.

В ткацком городке она родилась в рабочей семье. Пошла на фабрику. Это был единственный путь, выбора не было.

Среди фабричных девчонок выделялась красотой и набожностью. Верила чисто и строго, без исступления и фанатизма, но всем сердцем и разумом. Самой светлой и гордой для нее радостью было пение в церковном хоре.

А полюбила неверующего конторщика. Был он не атеистом-циником, а тем ищущим русским интеллигентом, каких наша земля породила немало. И видно, велика была их любовь, и велико было его обаяние: Анастасия не только родила ему семерых детей, но и перестала верить в бога.

Я знаю деда Ивана лишь по фотографиям и рассказам бабушки. Аккуратно подстриженная борода и сходящиеся с ней усы придают его

доброму, чуть иконописному лицу облик, который стал хрестоматийным для мужских портретов того времени.

Дед много читал. Пробовал писать стихи и прозу. Не пил, что на фабрике было редкостью.

Анастасия не только бросила церковь, не только обучилась с помощью деда грамоте, но и по его примеру втянулась в революционное движение на фабрике. Вместе с мужем встретила Октябрь как праздник.

Дед прожил по-новому недолго. Умер от тифа в глуши, в далекой провинции, куда уехал в составе продовольственного отряда. Анастасия осталась одна с кучей детей. Из семи выжили пятеро. Их она вырастила и вывела в люди.

Мать моя была самой старшей из ее детей. Родила она меня в двадцать два года. Значит, мои впечатления о бабушке Насте приходится на то время, когда ей не было и пятидесяти. Я гляжу на ее фотографии. Удивляюсь гармонии красивого облика и чистой души, какой она отличалась. Гармония эта была в ней так же естественна, как у другого походка или тембр голоса.

Наверное, главной силой революции была именно чистота вот таких ее рядовых тружеников.

Навсегда разлучила меня с бабушкой Великая Отечественная война. К тому времени, достигив меня уже до комсомольского возраста, она по традиционной российской эстафете прилепилась к своей младшей дочери и ее двум совершенно очаровательным крошечным дочкам. Осенью 1941-го пришло известие о гибели единственного кормильца семьи, летчика, павшего в воздушном бою. Зимой 1941-го тяжело заболели обе девочки и умерли в один и тот же день. В последний раз поцеловав остывающих малюток, бабушка пошла на чердак и там повесилась.

По отцовской линии были у меня дед Николай и бабушка Анна.

Дед Николай, рабочий, специалист по обработке металлов. Потомственный москвич, обитатель Даниловки, в Замоскворечье. Юношей пришел в революционное движение, стал большевиком задолго до Октября 1917-го. Все семеро его сыновей (была еще одна дочь) пошли за ним, тоже стали коммунистами до Октябрьской революции. Мой отец, например, родившийся шестым, был принят в партию весной 1917-го. Вместе с братьями делал революцию и до Октября, и после него. Двое из них погибли на фронте в гражданскую войну, я их, естественно, не знал. Другие братья моего отца тоже рано уходили из жизни. Все они были поставлены партией и революцией в такие обстоятельства, что рассказ о любом из семерых — это рассказ не только о человеке, но и о времени, самом жестоком и бурном в истории.

И сейчас вижу перед собой светлые обои над кроватью дяди Ивана, все в бурых пятнах: с такой силой хлестала у него кровь из горла, когда он умирал от туберкулеза. Как это тогда сплошь и рядом бывало, он буквально сгорел на работе, едва начав жизнь, так много обещавшую.

Человек весьма незаурядный, беззаветный труженик, дядя Иван занимал видные посты, был в свое время известным человеком.

Помню и другого своего дядю, Василия. С юных лет он «ушел в народ» и был учителем на селе. Мальчишкой я бывал в его просторном деревенском доме и школе, деревянной, удивительно светлой и веселой. Помню голосистый школьный хор, которым он самозабвенно руководил. До сих пор сохранилось во мне наивное детское удивление по поводу того, что в каждый свой приезд к дяде я убеждался, насколько его все уважают. Дитя города, я не встречался на асфальте с таким всеобщим почтением к одному человеку, какому был свидетелем в деревне.

Дяде Василию я обязан знакомству с русской деревней. Оно было недолгим, но оставило глубокое впечатление. Может быть, именно в силу того, что я был городским мальчишкой, деревенские впечатления так будоражили меня. Поражал и простор полей, и лесной приют, и тот привольный дух, который царил над этой зеленой землей. Здесь иначе дышалось, чем в городе. И не только потому, что воздух был чище. Здесь, на селе, начиналась та река, которая разливалась в большой океан под названием Россия. Разумом я дошел до этого позже, но яркие детские воспоминания помогли это осознать. Дядя мой, незаурядный человек с биографией русского подвижника, конечно, во многом помог мне понять нашу деревню. Он жил с нею одной жизнью, и я увидел ее его глазами, не как дачник. Летом, когда в школе не было занятий, он работал с крестьянами в поле, на огороде, ловил с ними рыбу, ходил по грибы и ягоды, гулял и выпивал по праздникам, обсуждал бесконечные мужицкие проблемы. И всюду брал меня с собой. Наверное, потому, что у него не было сына, две его дочери тогда уже были девицами.

Навсегда, на всю жизнь отпечатались в сознании деревенские цвета, запахи и звуки, а сердце навсегда связалось с деревенской землей той тоненькой стрункой, которая есть, наверное, у каждого русского, даже городского человека.

Мать семерых большевиков, бабушка моя Анна, осталась тихой и набожной до самой своей смерти. Вся жизнь ее была ограничена семьей, деревянным домиком и церковью. Дом ее был весь скрипучий и пахучий, как свежеевыпеченный хлеб. Иконы по углам, высокие белые, изразцовые печи, неуклюжие старинные шкафы, комоды и сундуки. И пузатый графинчик с водкой на белоснежной скатерти. Каждый наш с отцом визит к деду непременно сводил их за этим графинчиком. И пока они сидели за ним, я замирал, завороченный огнем бабушкиной печи.

Из нашего с бабушкой общения запомнил, как приставал к ней, требуя, чтобы она сняла со стен иконы. Она вздыхала, отшучивалась, но не сердилась. Моя антирелигиозная настырность была вполне объяснима. В те годы можно было повсюду увидеть такие лозунги и газетные заголовки: «Маленькие безбожники против верующих отцов», «Пионеры! Бейте тревогу — ваши родители молятся богу» и т. п. В Москве была

устроена антирелигиозная выставка под названием «Выставка побед безбожия». Или еще пример на ту же тему: сбор денежных средств на строительство подводной лодки «Воинствующий безбожник».

Есть у меня фотография отца. На ней ему лет двадцать. Стройный и удалой, он стоит в распахнутой косоворотке, подпоясанный толстым ремнем, кепка, лихо заломленная набекрень, не в силах придавить копну лыняных волос, брюки-галифе заправлены в высокие щеголеватые сапоги...

Как безжалостно быстро летит время, жизнь!

Я не помню отца таким, как на этой фотографии. Для меня он остался всегда тучным, лысым, с уже выцветшими голубыми глазами. А ведь был он в юности отчаянным малым, незаурядным спортсменом. Выросший на берегу Москва-реки, он был превосходным пловцом, сажал меня, мальчишку, на шею и уплывал со мной в море, когда мы вместе отдыхали на юге. Был отец и сильным конькобежцем, но на коньках я его уже не помню.

И, как многие сорвиголовы, он рано и неожиданно женился. В ту пору был совсем еще молодым партийным работником, переделывал жизнь по-новому в своей родной Даниловке. Будущая мать моя, начав трудовую жизнь на подмосковной ткацкой фабрике, к тому времени переехала в Москву. Правда, путь ее в столицу оказался не прямым и не коротким. Два года она провела на фронтах гражданской войны, была медицинской сестрой, политработником. Там же вступила в партию. Приехав в Москву, пошла на ткацкую фабрику, где на одном из частых тогда собраний и встретились мои будущие родители. Служебное положение отца гарантировало элементарный достаток в нашем доме и позволило матери уйти с фабрики на учебу. Впоследствии она окончила Коммунистический институт журналистики и работала в печати.

Занимались мною родители в самую меру, не баловали, но и не опекали на каждом шагу, доверяли. Их сделала людьми революция, и теперь я понимаю, что несколько своеобразное, можно сказать, свободное мое воспитание было следствием не столько их врожденного педагогического такта, сколько тех революционных принципов во всем (не исключая и личной жизни), в которые они верили. Через десятилетия вижу: именно эти принципы, преломленные в их сознании и направленные на мое воспитание, сделали детство мое счастливым. Одного материального благополучия для этого было бы мало. Правда, благополучие наше с современной точки зрения носило весьма своеобразный характер. Были всегда сыты. Жили в просторной, а главное — в отдельной трехкомнатной квартире со всеми, как говорится, удобствами, что тогда было редкостью. Но в доме — шаром покати! Только самый-самый необходимый набор мебели, на всю семью, например, хватало одного даже по нынешним понятиям малогабаритного платяного шкафа. Новый костюм или ботинки мне обычно покупали только взамен износившихся.

В те годы мои родители не были исключением, когда так беспечно относились к материальным атрибутам мира сего. Но уже тогда в нашем обществе были заметны и другие тенденции. После трудных лет войны и разрухи, голода и нужды многие коллеги моего отца по партии и работе начали вдруг весьма старательно налаживать свой быт, причем оказалось, что на этом пути нет конца и совершенства.

Революция приглушила собственнические инстинкты. Но как только жизнь вернулась в спокойную, привычную колею, они пробудились вновь. Сама по себе экспроприация средств производства не привела к уничтожению морали старого общества, родимых пятен капитализма, как тогда говорили. Эти пятна у многих быстро вновь проступили. Да, уже в те годы было видно, как капитально разворачивается поход вещей на людей. Хотя и жила тогда какая-то отчаянно наивная вера в то, что с революционными изменениями в сфере производства быстро и в корне изменится душа человеческая.

В 1938 году мне исполнилось тринадцать лет и я в свой день рождения почему-то решил, что самое время начать вести дневник. И начал. Во мне до сих пор живет многое из записанного в нем. Именно с того первого «дневникового» года выстраиваются в определенный ряд воспоминания, которые составляют то, что принято называть отрочеством.

Что осталось в памяти сердца с тех пор, что сохранилось в нем, не расплескавшись за десятилетия? Первое и главное — ощущение здоровья, постоянного напора бьющих через край сил. Словно кто-то вливал в меня ежедневно, ежечасно густой животворный сок жизни. Радость ничем не стесненного дыхания полной грудью. Радость прикосновения ко всему живому неуставшими руками и незагрубевшей кожей. Радость открытия мира ненасытными глазами. Радость первой, самой пылкой влюбленности в этот мир.

РОДИНА

Моя родина — центр Москвы. Там я родился и вырос.

На моих глазах рушилась старая Москва и строился новый город. Я уже бегал с мальчишками по улицам и переулкам, когда в столице только начали появляться дома без дымовых труб. Первым было здание ВСНХ СССР. Началась теплофикация города. Запятанная под землю, она тем не менее меняла и внешний облик столицы. За теплофикацией в столицу пришел газ, к удовольствию московских хозяек вытеснивший такие непереносимые атрибуты московского быта, как примус и керосинка.

В начале тридцатых годов появился лозунг «Москву булыжную превратим в Москву асфальтовую!», и тысячи рабочих вышли на улицы и площади города. Многие делали это вручную, но уже тогда появились

и специальные машины — автокати, помогавшие людям. Едкий, горьковатый сизый дымок, идущий от котлов, в которых варили асфальт, надолго окутал Москву.

Одно за другим поднимались новые здания, такие непривычные для древней белокаменной. В самом начале тридцатых годов вырос в центре города Московский телеграф. Потом — гостиница «Москва», называвшаяся гостиницей Моссовета, и Дом Комитетов СТО, ныне — Госплан. И повсюду вставляли жилые дома в четыре, пять и более этажей.

Величаво проплыл передо мной по Ленинградскому шоссе первый троллейбус, голубой и по тем временам ослепительный. Мало кто, наверное, знает, что с середины тридцатых годов в столице появились двухэтажные троллейбусы, вначале — английские, потом — нашего производства. А затем распахнуло свои царственные врата метро. Еще в канун его открытия я несколько раз ездил с отцом по первой линии. Метро производило впечатление! Наверху, над его мраморным, залитым светом великолепием, не было ничего и отдаленно похожего на бьющую в глаза роскошь подземных дворцов. Контраст был разительный!

Метро в Москве строили несколько лет. Большие зияющие дыры в земле были огорожены дощатыми заборами и увенчаны деревянными вышками. Строили подземку дружно и шумно. О ней много говорили и писали. В нее были вложены бесчисленные воскресники москвичей, особенно молодых. Кто только не спускался под землю в те годы, начиная от юных комсомольцев и кончая именитыми руководителями партии и государства. Строитель метро, человек в резиновых сапогах, брезентовом комбинезоне и металлической каске, весь с ног до головы в грязи, стал обычным явлением на улицах города.

Пуск метро в 1935 году был праздником не только московским, но и всенародным, хотя так, как москвичи, никто не мог оценить необходимость подземки. Старый московский трамвай к тому времени нес страшную нагрузку. Едва ли кто из людей моего поколения забудет, как обычно выглядели его вагоны в часы «пик»! Было такое впечатление, что они растягивались, словно резиновые. Мало этого. Их облепляли со всех сторон и ехали, держась неизвестно за что, ехали не в вагоне, где яблоку упасть было негде, а снаружи, на подножках, буферах, даже вдоль вагонов, цепляясь за окошки.

Мое поколение еще застало знаменитых московских извозчиков. Их, кстати, перед Октябрьской революцией в Москве насчитывалось более десяти тысяч. Четвероногие такси были просто неотделимы от московского пейзажа. Свой особый колорит вносили в него и могучие ломовики, перевозившие грузы. Свою последнюю трудовую вахту они честно закончили на строительстве столичного метро, которое затем и выжило из Москвы извозчиков. Набиравший тогда силу и популярность Леонид Утесов с успехом пел с эстрады об одном из последних столичных извозчиков, который ездил из дома на метро запрыгать свою конягу.

Место извозчиков в Москве быстро заняли юркие такси или таксомоторы, как их тогда называли. Автомобиль начал свое наступление на город. Любопытная деталь, говорящая о быстром внедрении автомашин в городское хозяйство: уже в 1933 году состоялся никак невозможный в прошлом судебный процесс над спекулянтами... автомобилями. Появились первые милиционеры — регулировщики движения, первые дорожные знаки и первые жертвы уличных происшествий. О последних тогда было принято сообщать в столичной прессе, точно так же, как о судах над лихачами, злостными нарушителями правил уличного движения. И тогда же встал вопрос о пьяных за рулем.

Как стремительно меняется облик Москвы, как навсегда уходят одни ее приметы и тут же появляются другие! Ставшая сегодня необычной, столица наша была весьма компактным городом. В 1934 году московские газеты писали о походе на байдарках из Москвы в... Кунцево.

Еще в детстве я любил бродить один по своим родным местам. От площади Маяковского по улице Горького до Александровского сада, потом — через сад, вокруг Кремля, и той же дорогой по улице Горького обратно. Эти прогулки были для меня любимым и самым естественным времяпрепровождением.

Я нарочно стараюсь почаще попадать в свой переулок, где у меня уже не осталось ничего своего. Правда, по-прежнему стоит наш дом. Он простоит еще долго. Построенный добротнo в самом начале тридцатых годов, дом и сегодня смотрится молодцом, но живут в нем и в нашей квартире другие, незнакомые мне люди. Рядом, через двор, стоит все та же школа, но в ней уже нет ни одного из моих прежних учителей. А вот по улице Горького ходить уже не люблю. Потому что преобразилась? Не знаю. Как помню себя, она всегда меняла свой облик. В период моей первой влюбленности в нее улицу реконструировали и расширяли. Раздвигали дома! Повернули, например, на девяносто градусов Глазную больницу да еще отодвинули. Музей Революции двигать не стали, а подрубил у него крылья. Передвинули Моссовет и затем надстроили его.

Естественно, об этих экспериментах много писали. Не помню, чтобы упоминали, во что они обходились. Наверное, в копейку! Теперь, при технике, далеко ушедшей вперед, потому, видно, и не возят дома по улицам (с тех пор был в Москве только один такой случай в 1979 году), а просто ломают их, когда считают необходимым. Правда, необходимость эта часто была весьма относительной и более чем полвека назад, когда взялись за старую матушку Москву, относительна она и сегодня, когда от белокаменной мало что осталось.

Какое-то лихорадочное стремление разрушать старинные здания, особняки, храмы, башни было, как болезнь, эпидемия. Едва не снесли среди прочего здравствующий и ныне Дом союзов.

«Внешность Дома союзов стала сейчас кучей, — писалось в нашей прессе в 1935 году. — Это архитектурный инвалид. Так и кажется, что он

подойдет к вам, положит руку на наружную колонну-лацкан своей ампирной шинелишки и скажет:

— Не пора ли меня перестраивать, дорогие товарищи? Соответствует ли моя внешность тому великому, о чем могли бы рассказать мои стены, лестницы и люстры? Каково мне стоять тут, среди новых гигантов — в самом центре Москвы, на проспекте, ведущем к Дворцу Советов?»

Дом союзов почему-то уцелел. Но многое погибло. Заодно со старой скоропалительно и даже тайком, ночью, сокрушили величественный монумент Советской Конституции напротив Моссовета. На том месте теперь сидит на коне князь Юрий Долгорукий.

В подшивке журналов 30-х годов можно увидеть фотографию, удивительное содержание которой раскрыто в лаконичной, но «глубокомысленной» подписи: «На месте снесенной Китайгородской стены — аллея». Вот так! А ведь ее называли «чудо-стеной». Горделиво вилась она от «Метрополя» до Никольских ворот, затем — от Лубянки к Москва-реке и по ее берегу до Василия Блаженного. Шатровые башни, зубчатые стены, арки — все было сложено (400 лет назад!) на века, во славу России. А стену крушили так, как будто вершили достойное великое дело. Вот восторженное описание этого деяния:

«В октябре 1934 года исчезли северная и восточная части старой стены Китай-города. Работы по сносу стены шли круглые сутки. По ночам лучи прожекторов освещали колонны пятитонных грузовиков и стальные ковши экскаваторов. Старая стена рушилась, исчезая на глазах. За экскаваторами шли тяжелые катки. И в несколько дней на месте старых крепостных укреплений боярской Москвы, над подвалами купеческих складов лег просторный асфальтовый проспект».

Своей кровной связью со временем бояр и купцов провинилась стена, а вот чьи руки ее возводили, это в голову горе-реконструкторам не пришло!

Если вместо чудо-стены кое-где проложили дороги или посадили деревья, то по Садовому кольцу, наоборот, вырубили все деревья.

Более чем полвека (за исключением военных лет) прожил я в самом центре столицы. Все это видел и помню. И как мгновенно исчез обелиск напротив Моссовета, и как без особой спешки вырубали Садовую. Под перезвон трамваев, в городской пыли повторилась грустная история, в которой «плакала Саша, как лес вырубали»...

Как некоторые утверждают, Москва веками застраивалась бесплано-во. Тем не менее она приобрела свой самобытный облик, в который влюблены были люди, составляющие ум, совесть и гордость России. Этот ее облик стали разрушать уже по плану. Начали «раскорчевывать старые, ненужные куски Москвы», «ветошь и гниль, наслоенную веками», «трухлявые строеньица, выпятившие свои унылые торцы и безобразные фасады», «то, что не могли сделать электропилы, довершал амонал». В кавычках приведены цитаты из восторженного очерка тех лет

о реконструкции Москвы. И даже в этих цитатах видно противоречие: «трухлявые строебница» и ...аммонал. Да, белокаменную наши предки клали крепко. Так что без аммонала обойтись не удалось.

Разрушали старую Москву с какой-то горделивой спесью, как бы любуясь собой. Так, в прессе писали: «Да, старую Москву, кабацкую, грязную, тесную, славившуюся только «сорока сороками» церквей, мы действительно разрушаем безжалостно». За этим совершенно идиотическим выражением «славившуюся только» стоит целая философия. Она губительно влияла на судьбу старой Москвы и отрывала подрастающее поколение от его корней. Горе-реконструкторы столицы сокрушали не только прошлое, но и будущее. Мы, мальчишки и девчонки, конечно, не понимали в то время, что творят с нашим городом, а заодно и с нами.

Вот свидетельство из книги Кнута Гамсуна «В сказочной стране». Гамсун пишет о том, что повидал почти весь мир, «но Москва — это нечто сказочное». Он продолжает: «С Кремля открывается вид на целое море красоты. Я никогда не представлял себе, что на земле может существовать подобный город: все кругом пестреет красными и золочеными куполами и шпилями. Перед этой массой золота, в соединении с ярким голубым цветом, бледнеет все, о чем я когда-либо мечтал».

Что делать нам сегодня, читая эти строки? Рыдать? Кусать локти? Проклинать тех, кто уничтожил сердце России?

Как зримо представить себе эту невосполнимую национальную потерю? Отчасти об этом можно судить, если посмотреть сегодня на чудо-церквишки, прилепившиеся к огромному серому комоду гостиницы «Россия». Слово последний лучик ушедшего за горизонт Солнца они пытаются дать нам представление о волшебном светиле, а поднявшийся над Кремлем мрачный куб гостиницы символизирует все то, на что мы променяли свою Москву — нашу красоту и гордость.

К сожалению, старую Москву уже не возродить никаким постановлением. В бесчисленных газетных и журнальных выступлениях 30-х годов подробно говорится об истоках так называемой реконструкции столицы. Оказывается, еще в 1934 году в Кремле состоялось совещание у Сталина, на котором «архитекторы и строители рисовали первые схемы грандиозной перестройки». А в следующем году можно было прочесть о том, что уже вовсю начали «воплощать в бетоне, в мраморе, в металле величественную программу, продиктованную гением Сталина». И еще называли при этом имя «рулевого московских большевиков, руководителя социалистической реконструкции Москвы Лазаря Моисеевича Кагановича». «Работы по коренной социалистической реконструкции Москвы, — писали в столичной прессе в 1934 году, — вдохновляемые и направляемые великим зодчим социалистического общества тов. Сталиным и лучшим его соратником тов. Кагановичем»...

Мои воспоминания о том, как изуродовали облик Москвы и лишили древний город его души, могут кому-нибудь показаться написанными

слишком уж мрачными красками. Наоборот! Вот еще одна констатация. Она прозвучала с трибуны XXVII съезда КПСС: «...Уже в разряд политических перешел вопрос о потере своеобразия архитектуры Москвы, особенно ее центра».

...Первым политическим лозунгом, какой я в своей жизни услышал и прочитал, был девиз «Пятилетку — в четыре года!». Он был написан на небольшом бюсте Сталина, который стоял у нас дома на книжной полке.

Над всей страной прозвучал перестук колес первых поездов Турксиба. После открытой в 1927 году Волховской ГЭС рождение Турксиба было следующей по своему значению и масштабам победой индустриализации. Мне до сих пор пуск Турксиба запомнился великим торжеством. Заработали Сталинградский тракторный и завод сельхозмашин в Ростове-на-Дону. Вторжение в нашу жизнь энергии и металла ощущалось всюду, даже в пуске дачного электропоезда Москва — станция Правда, который тогда, еще до метро, казался диковинной штукой. В Москве запустили гигантский по тем временам автомобильный завод АМО. Пошел металл Магнитки и Кузбасса, дал ток Днепротэс...

Каждая такая новая победа получала мощный отзвук. Верблюд, нюхающий рельс; металл, льющийся в ковш; болванка, прокатываемая в лист, — все эти зримые образы стояли у нас перед глазами, придя в нашу мальчишескую жизнь со страниц прессы и с киноэкранов. Мы не играли во дворе в Турксиб или Магнитку, играли в «казаки-разбойники», но даже мы, мальчишки, слышали грохот паровых молотов и ощущали жар доменных печей.

Глуше доходили до города перемены в деревне. Коллективизация не представляла перед горожанами так реально, как индустриализация. Но вскоре этот недочет был исправлен. За два года до войны в огромном городе, словно в сказке, вдруг вырос еще один город — Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Кому как, а нам, мальчишкам, она пришлось по душе. Там было где погулять.

От Площади колхозов, раскинувшейся перед Главным павильоном в окружении других основных сооружений выставки, в разные стороны расходились асфальтовые дороги и дорожки, тоже густо и затейливо застроенные. Много зелени, прудов. Много простора, по которому каждый городской мальчишка, сам того не ведая, скучает.

Кафе, палатки. Кинотеатры. Павильоны со всякой живностью и скотом. Словом, на выставку можно было прийти и за день уходить даже в наши молодые годы. А это и венчало все удовольствия.

Изнутри павильоны были отделаны с неменьшей претензией, чем снаружи. Уже после войны, познакомившись с художниками, оформлявшими тогда выставку, я узнал о колоссальных масштабах работ и фантастических затратах. Бесчисленные гигантские панно делали самые лучшие художники и их подмастерья, без которых физически все невозможно было бы сделать. В невиданно сжатые сроки и за невидан-

ные гонорары писались групповые портреты (зачастую по несколько десятков лиц!) и идиллические картины на коллективизированно-механизированные сельские темы.

И, разумеется, на выставке, как нигде более, проявились самые характерные черты архитектуры и живописи той поры. Вызывающая помпезность и аляповатая роскошь, намеренно бьющие в глаза. Еще бы! Ведь это был, как писали тогда, «праздник колхозно-совхозного изобилия». В павильонах рассказывалось об урожаях по 75 центнеров пшеницы с гектара, о трудоднях, на которые колхозники получали в день по 30—35 килограммов хлеба и по 5—10 рублей. Помимо вот таких ошеломляющих цифровых выкладок, под иллюстрацию успехов подводилась и научная база. Никто, даже самые беззаботные мальчишки, не мог уйти с выставки без того, чтобы не унести с собой имени Лысенко, «чародея» сельского хозяйства, академика из академиков, кумира и любимца великого и мудрого вождя. Лысенко во всевозможных вариантах демонстрировали на выставке больше, чем всех породистых быков и хряков, вместе взятых. Целые теплицы были отведены под удивительные растения, полученные этим деятелем, шагнувшим из безвестности в вожди нашей сельскохозяйственной науки. Изумленным посетителям показывали его гибриды, полученные от прививок картофеля на помидоры и обратно — помидоров на картофель. Показывали хлопок Лысенко для Подмосковья и многое другое, якобы созданное им и сулящее небывалое изобилие. Устроители выставки, как могли, поносили генетику, «буржуазную науку», и уверяли, что благодаря трудам Лысенко «под северным небом будут наливаться соками и созревать абрикосы, персики»... Давно это было. Отцвел Лысенко. Где его хлопок в Подмосковье? Абрикосы на севере? И никто на Руси до сих пор не закусывает водку картофеле-помидорами. Где все это? И где многие настоящие ученые, о которых ныне вспомнили и которые после встречи с Лысенко исчезли бесследно?

Во сколько же обошлась стране наша Выставка сельского хозяйства? О ней писали так: «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, как в зеркале, отражает сталинскую правду, воплощенную в жизнь на одной шестой части земного шара». Трубили громко. Но через весь этот ошеломляющий шум даже до нас, мальчишек, доходил робкий шепот правды. Выставка эта со всей ее показухой стала одним из первых диссонансов, резанувших мой слух еще в те годы.

Как помню себя, у нас в семье всегда была домашняя работница. Такая, какие теперь исчезли (исчезли, можно сказать, как класс, но не насильственно истребленные, а просто ушедшие вместе со своим временем). Они жили в городских семьях подолгу, постепенно, но прочно входили в них, внося в жизнь со стороны, из деревенской российской глубинки, терпимость, доброту и простодушие. Уходили они от «хозяев» обычно не как-нибудь, а на учебу, на производство.

Время от времени появлялись у нас в доме родственники домработницы из деревни. Бесхитростно и, я уже тогда это чувствовал, правдиво, без преувеличений, неопровержимо рассказывали о своей тяжелой доле, о запустении в деревне, о голоде, падеже скота...

В сытом доме их слова, помню, вызывали у меня чувство неловкости, стыда. Как могли ужиться эти рассказы с «выставкой изобилия»? Голод — фантастические урожаи? Голод — и сказочные трудодни?

...Детские годы, которым, казалось, конца не будет, расцвечены летними каникулами — дача, поездки к морю, пионерские лагеря.

Но главная радость — подмосковная летняя благодать! Каждый год открытие новых и всегда прекрасных зеленых уголков с ласковыми лесами, уютными лужайками и тихими водами.

Помню двухэтажную просторную дачу в Кунцеве с привольным зеленым участком вокруг нее. Там наша семья жила одно лето. В другой раз жили мы на даче в Лианозове, оно теперь, можно сказать, тоже съедено городом. Помню свои детские июни, июли и августы в Салтыковке, Мамонтовке, Клязьме... Без этих летних месяцев в Подмоскovie вырос бы я другим человеком и многое прекрасное безвозвратно упустил бы в жизни.

С пионерскими лагерями тоже связаны светлые воспоминания. Песня «Здравствуй, милая картошка, низко бьем тебе челом» как эстафета пришла к нам от первых советских пионеров двадцатых годов, которые, впрочем, тогда для нас историей не были, а были нашими пионерскими вожатыми.

Полной грудью дышалось в лагере! Книги, шахматы, футбол, не дальние, но все же интригующие походы (в дальние тогда ходить еще не умели). Пионерские костры!.. И вечером перед сном, уже в кроватях, разговоры обо всем на свете и пересказы прочитанных книг.

ШКОЛА

Как в самом раннем возрасте любил я детский сад, так потом любил и школу. На уроки бежал утром весело.

Среди других столичных школ наша выделялась тем, что в ней наряду с ребятами из близлежащих домов были собраны дети тогдашних руководителей партии и государства. Как правило, эти мальчишки и девчонки родились в двадцатые годы. Сталин, Сталина, Молотова, Берия, Маленкова, Булганин, Булганина — эти и другие фамилии в том же роде стояли тогда в классных журналах школы. Дети родителей рангом пониже (членов ЦК партии, наркомов, их заместителей, руководителей Коминтерна, ведущих военных деятелей и т. п.) составляли, наверное, больше половины ребят в нашей школе.

Светлана Сталина, родившаяся, как и я, в 1925 году, все годы учебы отличалась застенчивостью, в которой, по-моему, было нечто от забитости, заброшенности, что ли, никогда не казалась счастливым ребенком, с младших классов несла на себе печать какой-то глубоко скрытой беды. Станный, очень странный был у нее облик для дочери товарища Сталина, самого мудрого и доброго человека на земле, как тогда внушали всем и каждому с утра до ночи.

Вела она себя тихо. Отлично училась, была очень аккуратной. Пятерки ее были без натяжек. Отличалась и упорством. Например, школьная физкультурная программа давалась ей с трудом. Тем не менее она была прилежным участником нашего физкультурного кружка, старалась изо всех сил, несмотря на свою непригодность к спорту. В вышедшей на Западе книге «Двадцать писем другу» Светлана посвятила нашей школе несколько страниц, ее воспоминания приподнимают завесу и над трагическими обстоятельствами ее детства. И дальше жизнь Светланы сложилась также несчастливо. Не обрела она покой и на чужбине.

Брат Светланы, Василий, был полной ее противоположностью. Хулиган, с крайне неприятным характером, вызывающей манерой поведения, он плохо учился, плевал на все и на всех. Произведенный отцом в генералы авиации в двадцать с небольшим лет, он быстро спился и до конца своей недолгой жизни был алкоголиком и скандалистом.

Итак, школа наша являла собой нечто вроде советского лицея (по примеру царскосельского), хотя, по сути дела, была вполне обыкновенной десятилеткой, ее главным отличием от других по тем временам было то, что у нас всех классов было по одному, лишь мои сверстники, ребята 1925 года рождения, не смогли втиснуться в рамки одного класса и таковых было два — «А» и «Б».

Некая аналогия с пушкинским лицеем была и в том, что нас, мальчишек и девчонок, вольно или невольно приучали к обществу тогдашних вождей. В знаменательные дни, такие, как, скажем, дни очередного съезда партии, мы ходили в Кремль приветствовать его участников. Там, на сцене, где сидел президиум, мы читали стихи, пели песни и т. п. Имели возможность видеть прямо перед собой тех, кого страна знала по портретам. Случалось видеть их дома, когда детская дружба или совместное сидение за уроками приводили порой в самые высокопоставленные дома.

Атмосфера и отношения в школе были простыми, демократичными, но не без некоторых издержек. Например, за двумя Светланами, Сталиной и Молотовой, по школьным коридорам всегда следовали их сопровождающие — сотрудники органов госбезопасности. Другой штрих — каждое утро, перед началом занятий, и днем, после уроков, у школьных ворот собирались машины, обслуживавшие детей высокопоставленных родителей. Это очень бросалось в глаза, — ведь тогда не то что личных машин не было, их вообще в Москве было мало.

Преподавателям нашим удавалось одинаково относиться и к детям известных людей, и к детям простых смертных. Я по-доброму вспоминаю своих учителей. В то время среди них было еще немало мужчин. Именно они в первую очередь встают передо мной, когда я думаю о родной школе. Как это плохо, что сегодня у нас учителя-мужчину не сыщешь днем с огнем! Причин тому немало, начиная с учительской зарплаты (мы, наше государство, так мало платим тем, кому доверяем самое дорогое — детей наших!). Как ребенку наряду с матерью нужен отец, так и школьнику совершенно необходим воспитатель-мужчина.

Радостны воспоминания о школьных годах. Но тем не менее где-то глубоко в подсознании лежит неразстворимый с годами осадок, он дает о себе знать особенно во сне. Есть у меня две постоянные серии беспокойных сновидений — война и школа. Ну, война это понятно. А вот школа...

Часто снятся экзамены и контрольные работы. Страх охватывает, потому что не успеваешь что-то написать или не знаешь чего-то. А я учился всегда легко, в моем последнем, предвоенном дневнике за 1940/41 учебный год, то есть за восьмой класс, по всем предметам «отлично» и только по одному «хорошо». А вот преследуют и меня, более чем благополучного ученика, такие сны! Как, почему столь глубоко сидит этот испуг, забравшийся в душу с детства? Может, потому, что мы сдавали экзамены каждый год, начиная с четвертого класса? А может, вообще существующая система оценки школьной успеваемости и методы обучения не совсем согласуются с детской психикой и нормальным развитием ребенка? Ведь, как правило, знания в школе скорее вколачиваются, чем с охотой усваиваются. Совершенно не учитывается в процессе обучения удивительная восприимчивость детского ума. Для ее эффективного использования нужны, конечно, другие методы.

В школе и вокруг нас мы получали немало. Но были в нашем воспитании и образовании существенные пробелы. Например, совсем вышло искусство. Прежде всего музыка. Правда, в младших классах были у нас раз в неделю «уроки пения», но такие убогие и такие всегда заведомо второстепенные, вовсе не обязательные. Мимо нашего детства прошло изобразительное искусство. Уроки рисования в младших классах были сродни урокам пения. Осталась неведомой нам культура Древней Греции и Древнего Рима, не знали мы мифологию и Библию. Древнюю историю в школьном объеме мы учили — войны, цари, хронология, хозяйство, но неповторимая культура детства современной цивилизации в программу не входила.

И сам метод обучения в школе был весьма спорным. Нам учителя всегда сами ставили задачи. Их ответ всегда должен был сходиться с ответом в конце задачника. Процесс мышления, которому нас обучали, был как прямая, единственно возможная между двумя точками в пространстве. Никаким сомнениям места не было! А как же с классическим положением: «Я сомневаюсь, значит, я существую?»

В нашей прессе время от времени поднимается вопрос о тех анекдотических характеристиках литературных героев, которые чуть ли не наизусть заучиваются в школе.

Черное и белое. Добро и зло. Никаких полутонов и оттенков! Все четко и ясно. Все выводы разжеваны. Извольте проглотить и переварить!

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Казалось бы, аксиома. Но вот мы сами за собой ошибок признавать не любим, хотя идем по неизведанному пути.

В годы юности моего поколения даже такой намек на самокритику был немислим. Абсолютная безошибочность наша и столь же абсолютная ошибочность всех наших противников — таков был для нас основной закон познания мира. А ведь он прежде всего противоречит диалектике, которую мы исповедуем. Такой закон познания тормозит развитие творческого мышления и превращает человека из существа мыслящего в весьма опасную особь. Две стороны, стоящие друг против друга и абсолютно уверенные в своей правоте, подобны критической массе ядерного устройства за миг до губительного взрыва.

Во многом наше мировоззрение формировалось под воздействием лозунгов. Их было много, комментариев к ним, как будто, не требовалось. Все должно было быть очевидным. Но такое лозунговое мышление таило в себе опасность: люди отучались думать. Вкладываемые в них готовые формулы не производили никакого движения в мозговых извилинах.

...Воспоминание о школьном физкультурном кружке — одно из самых дорогих для меня. Сегодня, проходя мимо родной школы, всегда смотрю на большие окна нашего физкультурного зала. Когда зашел я в него после войны, показался он мне маленьким, а в памяти остался большим, как та радость, которую он дарил.

Спорт занял много места в моем детстве и отрочестве. В школьном физкультурном кружке были четко организованные, планомерные, месяц за месяцем, год за годом занятия. Мы подрастали, повышались и наши спортивные разряды. Но не меньше удовольствия доставлял нам дикий, вовсе не организованный мальчишеский футбол. Стремглав бежали мы после уроков ко мне домой (я жил ближе всех к школе), бросали там свои портфели, хватали футбольный мяч и мчались на Малую Дмитровку (ныне ул. Чехова), где садились в трамвай, идущий в Тимирязевскую парк.

Весело позванивая, не спеша поспешая, просторный и уютный среды дня, не в часы «пик», московский трамвай доставлял нас в один из самых славных уголков столицы, где было много раздолья, зелени и воды. Там мы выбирали поляну поровнее, устраивали «ворота» и договаривались о границах нашего «футбольного поля». Каждый раз мы гоняли там мяч по несколько часов.

Главным зимним развлечением у нас был каток «Динамо» на Петровке. Туда ходили по вечерам, класса с шестого вместе с девочками. Катались с ними, а потом провожали их домой. Мою одноклассницу, красавицу Оленьку, я в состоянии абсолютного блаженства провожал с Петровки до Ленинградского шоссе, где она жила. Путь немалый, но проделывали мы его пешком, накатавшись перед этим так, что на ногах едва стояли.

До сих пор звучат в ушах мелодии и слова, как правило, глуповатых песенок с пластинок, под которые мы кружились на льду. А потом шли передохнуть в раздевалку и с важным видом наведывались в буфет, где пили пиво. Тогда, по молодости, нам очень нравилось черное, «бархатное».

Каток, гимнастика, лыжи, волейбол так подружили нас с Оленькой, что в шестом классе мы решили сесть с ней за одну парту. Так и сделали. До этого у нас все мальчишки сидели с мальчишками, девчонки — с девочками.

Война украла мою юность. И остались от школьной поры воспоминания только о детских и полудетских влюбленностях. Я так и ушел из дома в 1941 году, шестнадцати лет от роду, нецелованным. Первой девушкой, которую я поцеловал, была вчерашняя школьница, семнадцатилетняя медсестра из военного госпиталя. Как и я, целоваться она не умела. Звали ее Любой. До сих пор храню фотографию «от медсестрички Любы»...

И еще один школьный штрих. Почти все мальчишки нашего класса одержимо играли в шахматы. Один турнир у нас следовал за другим. Одно время я ходил в шахматный кружок Дворца пионеров, потом посещал занятия такого же кружка при Доме журналистов. Играли мы всерьез, изучали теорию, разбирали партии гроссмейстеров и мастеров. И это неудивительно: мы подрастали в самое шахматное для страны время. Тогда эта игра стала популярной невероятно! Шахматы — игра не быстрая. И они, разумеется, занимали у нас немало времени. Это в дополнение к гимнастике, футболу, конькам, лыжам и... учебе. К тому же многие из нас читали запоем. Как все это успевалось?! Не разгаданный до сих пор никем секрет детства.

Возможно, я ошибаюсь, но, мне кажется, мои дети и их школьные друзья успевают сделать меньше, чем это удавалось в детстве нам. Может быть, из-за телевизора?

ТРАГЕДИЯ

1937-й. С этой датой принято связывать то, что теперь названо периодом культа личности Сталина. Само слово «период» уже предполагает не один год, а время более длительное. И верно. Одним годом дело, к несчастью, не ограничилось.

Перед самой войной, в мае 1941 года, наш класс сфотографировался по случаю окончания учебного года. Никто тогда не думал, что это прощальный снимок. Кто бы мог предположить, что через несколько недель война разбросает нас во все стороны и другого такого снимка уже никогда не сделать. Я смотрю сегодня на него и вижу: на этой еще довоенной фотографии больше полкласса сирот!

После двадцатого съезда партии все их родители были реабилитированы, но ни один из них не вернулся. Ни один! Реабилитированы были уже не люди, а память о них.

В те годы еще было далеко-далеко до 1956-го, и слова-то такого, как реабилитация, не было в ходу. Мои вдруг осиротевшие одноклассники сразу повзрослели. В 12—13 лет на них обрушилось горе невиданное. Тем более для них страшное, что были они из семей благополучных, обеспеченных. К тому же родители их были людьми более чем уважаемыми, относились к цвету партии, имена и портреты многих из них были знакомы нам по книгам, газетам и журналам. И вдруг — «враги народа»!

Чудовищна была эта обрушившаяся на страну беда. Но ни учителя, ни ребята не изменили своего прежнего отношения к детям репрессированных. Настолько их вдруг стало много, этих «врагов народа», что, вероятно, ни разум, ни сердце не могли поверить в реальность «вражеских» происков. Не было ужаса перед тем, что вот такое обилие «врагов» сейчас тебя погубит. Был ужас перед все нараставшей волной арестов. Был ужас, как во время стихийного бедствия, землетрясения, наводнения. И уже в этом очень характерном штрихе — отсутствии страха перед «врагами народа» — было заложено будущее разоблачение истоков трагедии, последовавшее только в 1956 году.

В 30-е годы «враги народа» официально, ежедневно и ежечасно, громогласно предавались анафеме. Но печатная и радиопропаганда в их адрес была настолько неистовой, оглушающей, что рассудок отказывался воспринимать ее. Необходимые для убеждения факты заменялись безудержной однообразной бранью.

Наша школьная жизнь стала тусклее, меньше стало смеха, футбола и шахмат, меньше домашних елок и вечеров, которые регулярно устраивались прежде то у одного, то у другого. Вместе с пострадавшими ребятами все мы повзрослели раньше, чем положено.

Частые домашние вечеринки достаточно познакомили нас со многими родителями, мы неплохо знали большинство пап и мам, привыкли к ним за несколько лет, и вот вдруг они один за другим стали исчезать из жизни. Они были всегда милы с нами, эти здоровые, жизнерадостные мужчины и женщины, им было тогда всего-навсего за тридцать. Нет, в нашем детском сознании эти несчастные никак не вязались с теми страшными образами врагов народа, какие рисовали пресса и другие средства информации. Их ни с чем не сравнимая трагедия не проходила

бесследно для нас, мальчишек и девчонок, даже для тех, у кого судьба пощадила родителей.

Эта трагедия, разумеется, не ограничивалась рамками нашей школы. В доме, где я жил, и в соседних домах все больше и больше квартир оставалось без их владельцев. Аресты производились по ночам, а утром по подъездам со скоростью всех плохих новостей пронесилось еще несколько имен только что выявленных «врагов народа». Было от чего сойти с ума. Было ли страшнее время? Именем революции губили революционеров!..

Когда мы, дети 1925 года, только-только научились читать и писать, культ Сталина уже набирал свою страшную силу. В конце двадцатых годов имя Сталина и его портреты появлялись в печати от случая к случаю. Очередной партийный съезд — портрет. С начала тридцатых годов эта скромная закономерность нарушилась: К съезду — портрет и к любому празднику — портрет! И всюду, в праздники и будни, тысячи тысяч его портретов, его бюстов и скульптур. Всюду — от бань до парков культуры и отдыха. И слова! Лавина славословия! Она обрушилась на страну, как горный обвал. Уже в 1931 году 14-ю годовщину Октября страна должна была встречать под знаком выполнения шести исторических указаний товарища Сталина, именно — его личных указаний. С 1933 года с легкой руки одного известного графика Сталин стал «рулевым» страны (так изобразил его художник, сам потом много претерпевший от культа личности). Народ должен был жить, работать и сплываться не во имя какой-то великой цели и не вокруг какой-то силы, а вокруг «вождя народов товарища Сталина».

С середины тридцатых годов хлынул мощным потоком, залившим всю печать, особый род литературы — безудержное, не знающее никаких пределов возвеличивание вождя. Вдруг появились сотни, тысячи песен и стихов о нем. В них он был и самый гениальный, и самый мудрый, и самый добрый, и самый справедливый, и самый великий, и самый отважный из всех-всех героев, когда-либо живших на Земле. Самая изощренная лесть в его адрес стала необходимым компонентом не только периодической печати, но и литературы.

Вот одна из сотен таких книг. «Песни о Сталине» (Гослитиздат, 1950 год). В ней собраны стихи о Сталине всех тогдашних более или менее известных поэтов и так называемые «народные» песни. Больше, чем монбланы лести, поражает чудовищное убожество всех этих виршей, все эти расхожие «родной отец», «орел», «садовник», «солнце» и т. п. Какая-то прямо-таки вопиющая и вопящая о себе неискренность прет из каждой строки. По-моему, достаточно прочитать этот сборник, чтобы получить вполне точное представление о том страшном времени.

Вот пишет один из известнейших русских поэтов и умудряется в нескольких строчках назвать Сталина и «самым большим человеком», и «самым большим полководцем», и «самым бесстрашным и сильным», и «солнцем весенней порою», и «самым большим садоводом», и «самым

любимым и мудрым», и «правдой народов» и т. п. Тот же поэт, пожалуй, самый крупный в этом сборнике, пишет в другом своем стихотворении:

В мире нет человека
Дороже, роднее.
С ним и счастье счастливей
И солнце светлее.

И такое писал человек действительно талантливый! Можно себе представить, что же собрано в этой книжке из других авторов! Вот, например, стихи очень известного тогда поэта, называются они «Садовник», и есть в них такие строки:

Все ему проверить надо
Взором пристальным своим,
Чтобы каждый корень сада
Был по-своему любим.

Он помощников расспросит,
Не проник ли вор тайком?
Сорняки, где надо скосит,
Даст работу всем кругом.

Или еще, все из той же книжки, но уже другого автора:

Любимый вождь, отец родной,
Громя врагов, со всей страной,
Ты, Сталин, создал дивный строй.

А вот в той же книге два тоже известных поэта сочинили вместе такое:

Славься, первый полководец, наш отец, учитель, воин,
Гений счастья и свободы, нашей правды торжество!
Славься, наш народ великий,
Вождь любви твоей достоин,
Как вождя и полководца ты достоин своего!

Этих обоих старается переплюнуть их собрат по величальной поэзии и пишет о Сталине так: «Солнца ярче слава твоя, меда слаще имя твое», «мысли твоей не меркнет свет, мощи твоей предела нет»...

И еще немного из других источников.

Сталин в каждой мысли у нас.
Сталин в каждом сердце у нас.
Сталин в каждом деле у нас.
Сталин, сердце мое, спасибо тебе!

писал один поэт (точно так же, как и сотни других). Соревнуясь друг с другом в славословии, они додумывались до таких перлов:

Есть ли слово такое,
Чтоб все в нем соединилось.
Чтоб все в нем, в едином слове,
Было заключено?
Да, оно есть! Природа
Сделала эту милость —
Вот оно это слово:
— Сталин! — звучит оно.

Или еще одна «милость природы», такое вот поэтическое восклицание: «Сталин! Второе рождение земли».

От таких утверждений было уже полшага до обожествления. И эти полшага смело делались: «Всю жизнь окропил он живую водой».

Даже такой специфический жанр, как колыбельная песня, не убергся от всеобщей истерии (правда, истерии не вдруг вспыхнувшей, а очень хорошо организованной). Вот, например, слова из «Колыбельной» тех лет:

Есть такой человек за стенами Кремля,
Знает и любит его вся земля,
Радость и счастье твое — от него,
Сталин — великое имя его.

До чего только не доходили, соревнуясь в этом славословии: «Мой Сталин, мой светоч, я только с тобой», «Любимый, тобою награждена моя золотая, родная страна», «И Сталин, солнце дней моих, все ярче красит небосвод», «Сияние солнечных сталинских глаз, всю землю согревших заботой о нас», «Ждали люди из века в век, чтоб родился такой человек», «Им согрета вся кровь моя», «Это Сталин, источник добра!», «Петь о нем не хватает слов...».

Но слов, как видим, хватало. Перелистывать страницы поэтических сборников тех лет — занятие не то чтобы удивительное, а страшное. Каждый обязан был воспеть «самого мудрого из людей». И воспевали, не боясь даже кощунствовать:

Великий политик и мудрый стратег,
Ленинских дум гениальный ваятель — (?)
Сталин — первый наш человек!

Вот такие вирши нас в школе заставляли заучивать наизусть. Поэзией дело не ограничивалось. На уроках пения мы разучивали песни о «Сталине, мудром, родном и любимом», который и «наша песня боевая», и «нашей юности полет».

В популярной теоретической форме этот невиданный в истории всем культам культ был оформлен в «Кратком курсе истории ВКП(б)», вышедшем в 1939 году. Его было положено изучать каждому. Написанное в нем вычеркивало из истории и переименовывало многое из того, что было известно о партии и революции. Все достижения в этой книге объ-

яснялись гением Сталина, который, словно бог, творил историю, был всегда и во всем прав, всегда на нужном месте и всегда справедливоправлялся со всеми врагами.

Это возвеличивание достигло заоблачных вершин. Оказалось, можно и еще выше! Со всех концов страны в Москву потекли подарки товарищу Сталину. Куда их было девать, тысячи, десятки тысяч?! И вот из музеев переносились в запасники картины и скульптуры и на их место водружались все эти бесчисленные подарки.

На протяжении многих лет ни одна речь, ни один доклад не могли закончиться иначе, чем здравицей в честь «великого, гениального, родного, любимого и т. п. товарища Сталина». И после каждой такой здравицы все обязаны были вставать и аплодировать несколько минут.

Такая еще деталь. Очень для того времени характерная. У входа в Центральный парк культуры и отдыха в Москве на газоне были устроены два огромных портрета из цветов — Сталин и Каганович. Последнему тогда еще некоторое время дозволен был собственный культ. Когда в Москве в 1932 году был пущен в ход огромный по тем временам шарикоподшипниковый завод, то его называли именем Лазаря Кагановича. В его же честь нарекли и столичное метро.

Прославление Сталина в монументальных формах — это целая эпоха! В 30-е годы был создан музейный комплекс в Гори, где родился Сталин. В 1938 году наша пресса сообщала: «В Москву вчера возвратился академик А. В. Шусев, ездивший в Тифлис, где по его проекту будет сооружаться грандиозное здание института Сталина». 7 ноября 1934 года «гениального вождя» изобразили во весь рост на гигантском панно высотой со здание Совета труда и обороны (ныне Госплан), в другой октябрьский праздник соорудили Сталина у Большого театра ростом со здание театра, в третий раз, по такому же поводу, вождь был изображен на гостинице «Метрополь» (размер — 25 метров на 9)... Это, можно сказать, настенная живопись. От нее не отставали и настоящие мастера кисти. В 1937 году публикуется такое сообщение: «Художник Александр Герасимов заканчивает работу над огромным портретом «Сталин на XVI партсъезде».

Еще один из множества аналогичных фактов. В отчете о праздновании 1 Мая на Красной площади в 1936 году читаем:

«Высоко над площадью вздымаются панно с изображением ярких эпизодов биографии великого Сталина. На первом панно Сталин — организатор большевистского подполья. На втором Сталин — организатор и руководитель закавказской большевистской организации. Дальше Сталин — лучший соратник Ленина в дни Октября. Сталин — организатор и вдохновитель побед Красной Армии. Сталин — любимый вождь партии и трудящихся всего мира. Вот Сталин на трибуне 1-го совещания стахановцев в Кремле. Сталин — среди стахановцев. Сталин с летчиками и парашютистами. Сталин — среди пятисотниц. Сталин — среди детей».

Чем громче гремели колокола культа Сталина, тем все больше людей арестовывали по ночам. Среди них — известные люди, видные деятели партии и государства. Их имена вдруг исчезали со страниц печати и из радиопередач. И каждому становилось ясно: арестован еще один «враг народа». И все. Никаких официальных сообщений. Человек был и исчез. А только что его знала вся страна. Куда он вдруг пропал, почему? Даже дети знали о его заслугах, еще дореволюционных. Так же тихо и бесследно исчезали и самые известные деятели науки, литературы, искусства. Что уж тут говорить о людях без громких имен?!

О таких вдруг канувших куда-то в жуткую неизвестность жертвах в обществе не упоминали, о них говорили только очень близкие между собой люди. Говорили шепотом. Под этот шепот мы вырастали из детей в подростков.

На отцовских книжных полках стояли светло-желтые толстые тома в мягких полукартонных переплетах — подробнейшие стенограммы съездов партии. Я любил листать эти тома. Там были списки всех участников каждого съезда. Сколько громких имен! И большинство из них во второй половине тридцатых годов вдруг исчезло. Все они оказались «врагами народа». Как же так?! Их знали десятилетиями, их избирали на съезды, одного от нескольких тысяч коммунистов. В стенограммах указывались избравшие их организации — со всех концов страны. Как же всюду могли их проглядеть, как все могли в них так ошибаться?! И так долго ошибаться... И почему они исчезали бесследно, ни слова не успев сказать, объяснить, в чем дело, что произошло. Ведь они умели постоять за себя, умели бороться и отстаивать свои убеждения. В тех же стенограммах съездов были их речи, пламенные и деловые одновременно, прерываемые репликами из зала, на которые они тут же находчиво отвечали. Горячим живым дыханием обдавали даже меня, мальчишку, эти страницы съездовских стенограмм. Что же значили они для моего отца, близкого знавшего многих известных деятелей партии, ставших затем жертвами необоснованных репрессий. Сколько этих имен вспомнил я после 1956 года, после XX-го съезда партии, когда, будучи реабилитированными, они попадали на страницы прессы по случаю круглых дат со дня их рождения.

В наш детский лексикон одновременно с такими словами, как «ударник» и «пятилетка», вошли слова «вредитель», «враг народа». Их гнусные образы в те годы населяли периодику, литературу, фильмы. Их обнаруживали в промышленности, сельском хозяйстве, Госплане... Всюду, во всех организациях шла так называемая чистка партии, то есть поголовная проверка членов партии и исключение из ее рядов тех, кто эту проверку не прошел.

Всенародное бедствие, названное впоследствии периодом культа личности, едва ли обошло хоть одну семью. Задело боком и нашу.

Один из шести братьев отца, Александр, посланный партией на освоение Дальнего Востока, вскоре был там арестован как «враг народа».

Но он не пропал бесследно, как большинство репрессированных в те годы. Не пропал потому, что след его не успел затеряться в лагерях. Сразу после ареста он объявил голодовку и в две недели умер. Все братья были гордыми людьми, с большим чувством собственного достоинства. Видно, Александр не смог вынести той чудовищной несправедливости, какая обрушилась на него и на страну.

Отец мой очень тяжело переживал гибель брата, самого, кстати, веселого и жизнерадостного из всех семерых. И без того любивший выпить, отец начал спиваться. К тому же арест брата не мог не сказаться на его партийной карьере. Она неожиданно оборвалась, и отца, как тогда говорили, бросили на искусство, то есть послали туда работать.

С чем можно сравнить по силе пережитых народом душевных потрясений те годы, именуемые «периодом культа личности»? Ни с чем! Даже с войной нельзя!

Во-первых, как страшна она ни была, но все же длилась с 1941-го по 1945-й, то есть четыре года. А период культа начался для моего поколения еще в тридцатые годы. Мы шли через его ужасы детьми, подростками, юношами, зрелыми людьми. Официально он завершился в 1956 году, на двадцатом съезде партии, когда нам перевалило уже за тридцать. Тогда многое было разъяснено, многому даны исторические оценки.

Во-вторых, невозможно даже сопоставить по своему воздействию на наши умы и души войну и период культа личности. В войну все было ясно: на страну напал чужеземный враг, значит, надо обороняться. А что было ясно в те годы, начиная с тридцатых?! С какими военными ужасами можно сравнить нагромождение чудовищных несправедливостей, сравнить тот колоссальный урон, который был нанесен стране и народу не извне, не чужеземным врагом, а изнутри?!

ТЕАТР

Говорят, нет худа без добра. Резкий поворот в карьере моего отца подарил мне несколько удивительных, неожиданных лет, которые стали для меня театральными. В области искусства он был на большой работе, и передо мной открылись двери театров и концертных залов Москвы. Так, только-только входя в ум, перешагивая из детства в отрочество, я попал в увлекательный мир сцены. Где я только не бывал! Но сердце мое прочно завоевал Большой театр. Он стал моим вторым домом. В предвоенные годы я пересмотрел там весь репертуар, все шедшие тогда оперы и балеты по несколько раз.

Обаяние Большого было для меня так велико, наверное, потому, что знал я его очень близко, знаком был не только с залитой огнями сценой. Я любил ходить туда один, без родителей. В боковом подъезде, со стороны Петровки, меня всегда, как своего, встречал один и тот же

старый капельдинер, охранявший наружный вход в ложу дирекции (крайнюю правую ложу бенеуара, выходящую прямо на сцену). Поднявшись по белой мраморной лестнице на второй этаж, я проходил через затянутые красным комнаты в ложу, в которой стояло несколько полукресел и одно похожее на трон кресло. На нем всегда лежала картонка с надписью: «Место директора». Не помню, чтобы оно хоть раз было кем-нибудь занято, да и вообще в ложе обычно было три-четыре человека. Впервые я попал туда совсем мальчишкой и меня усадили в кресло-трон. С тех пор я каждый раз забирался в него, поскольку детей там почти никогда не бывало.

Потом, когда я стал заядлым театралом, я часто приходил в Большой не к началу спектакля, а специально к тому акту или к выходу того актера, которые мне особенно нравились. Случалось, бывал там и два раза в день, и утром, и вечером. Тогда тоже было две сцены — основная и филиал.

Я ходил и на репетиции, пробные «прогоны», знал, над чем работают сегодня, за что возьмутся завтра. Потому и помню мучительные поиски современного репертуара на классической оперно-балетной сцене. На моих глазах появились и канули в Лету несколько таких постановок. Не все они даже доходили до сцены, но уж если доходили, то премьера обставлялась с роскошью и большим шумом, а потом мертворожденная новинка быстро и тихо исчезала из репертуара, будто ее и не было. Сколько при этом пропадало средств, сил и времени! В те годы постановки Большого отличались редкой помпезностью, денег на них не жалели.

Первой советской оперой был «Тихий Дон» Держинского. Он удержался на сцене Большого, хотя не шел ни в какое сравнение с обычным уровнем этого театра. Потом его коллектив взялся за «Волочаевские дни» того же Держинского, но из этой попытки ничего не вышло. Ненадолго выплыл на оперную сцену «Броненосец «Потемкин», по сравнению с которым и «Тихий Дон» был шедевром. Долго и безуспешно шла работа над «Матерью» композитора Желобинского. Взялся было Большой и за «Поднятую целину» (по Шолохову)...

Не спасали тут ни ухищрения постановщиков, ни щедро ассигнуемые средства, ни, наконец, талант бедных солистов, вынужденных мучить себя под убогий музыкальный аккомпанемент. А ведь на такие «оперы» бросались лучшие силы!

Почему такой рок повис над современной оперой? Потому что ставили их не по велению сердца, а по принципу «Надо!». Думаю, главный их порок был не в конфликте между условной оперной формой и современной тематикой, а в убогой музыке и таком же либретто, большей частью похожем на пародию для «капустника». И несомненно, театру было очень непросто ставить оперы на современную тематику еще и потому, что по заведенным тогда порядкам у таких постановок оказывалось сразу до семи нянек.

Цитирую тогдашние печатные источники:

«Колоссальное значение для развития советского оперного искусства имела состоявшаяся 17 января 1936 года беседа товарища И. В. Сталина и товарища В. М. Молотова с постановщиками спектакля «Тихий Дон». Выдвинув перед творческими работниками задачу создания советской оперной классики, товарищ Сталин определил те большие требования, которые предъявляются советским народом и партией к опере как высшей форме синтетического искусства».

«Коллективу театра в его исканиях неоценимую помощь оказывали конкретные указания товарища Сталина».

«Мудрые указания товарища Сталина направляют оперных композиторов на творческое развитие опыта, традиций, великих завоеваний музыкально-театральной культуры прошлого, направляют на создание советской оперной классики».

Наряду с «мудрыми указаниями» сверху поступали и резкие окрики, которые в те годы могли обернуться (и оборачивались!) чем угодно. «Сумбур вместо музыки» — так называлась редакционная статья в «Правде» (1936 г.) об опере Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда».

Но эксперименты с новыми современными операми в Большом были все же исключением, а не правилом. Окружавшие там меня взрослые воспринимали их как печальную необходимость. Зато каждый прочно вошедший в репертуар спектакль был всегда праздником.

Не меньший праздник наступал для меня и тогда, когда я оказывался за кулисами. То, что я узнал театр и с другой стороны, с тыла, усилило мою влюбленность в него.

Тяжелое, прямо-таки лошадиное дыхание убегающего со сцены кордебалета, который только что порхал невесомыми бабочками, мокрые лица балерин, становящиеся усталыми в тот самый момент, когда тень кулис стирает с них свет рамп. Изнурительная, начинающаяся с утра, каждодневная работа всего огромного коллектива в театре без его привычных ярких огней, репетиции перед пустым полутемным залом и в самых разных, больших и малых помещениях, неведомых зрителю. Все это я много раз видел. И все это нисколько не лишало Большого того колдовского очарования, которым он был для меня овеян. Наоборот, это утверждало меня в любви к нему.

И можно понять мою беспредельную гордую детскую радость, когда я встречался с его прославленными солистами не на сцене, а лицом к лицу, за кулисами, в служебных помещениях театра, дома у нас или же в гостях у них. Отца они любили и уважали, потому и меня баловали своим вниманием.

Еще больше оперы полюбил я балет Большого театра. Успел застать на сцене М. Семенову, которая для меня так и осталась непревзойденной никем. Она, по-моему, так счастливо выпадает из ряда балерин, технически абсолютно совершенных и из-за этого «абсолюта» в какой-то степени, — одна больше, другая меньше — лишенных той человечности,

какая отличала Семенову. Под стать ей был ее партнер М. Габович. Можно, наверное, спорить об истинной великой цене Семеновой и Габовича каждого в отдельности, но такой пары, в которой оба партнера были бы так же, как они, одновременно талантливы и хороши собой, я не помню.

Как и в опере, в те годы балетную классику на сцене начала теснить современная тема. В балете это почему-то проходило удачнее. Еще в 1927 году, к десятилетию Октябрьской революции, был поставлен «Красный мак» Глиэра, который хорошо слушался и смотрелся. Удался и балет «Пламя Парижа» Б. Асафьева о Французской революции. Мне очень нравился этот темпераментный спектакль. По музыке того же Б. Асафьева был поставлен «Бахчисарайский фонтан», тоже прочно вошедший в репертуар.

Были, конечно, издержки и с новыми балетными спектаклями. К ним относится, например, балет Д. Клебанова «Светлана». О нем тогда писали так: «Сюжет этого произведения бесхитростно прост и не претендует на оригинальность; он подсказан многочисленными драматургическими спектаклями и кинофильмами на тему о героическом труде и бдительности советских людей; одна из линий сюжета — выявление и поимка диверсанта». Балета на этот «бесхитростный сюжет» не-получилось.

Под звуки музыки из зала Большого встают передо мной его солисты тридцатых годов. Разные имена, разные люди. Не мне тогда было разбираться в их человеческих качествах, но бесспорно одно — все они были щедро наделены талантом. Видел я их много на сцене и в жизни. И в любой обстановке нравились они мне очень. Вот осталось такое впечатление — красивые были люди!

И еще одно обстоятельство привязало меня к Большому. Несколько летних каникул я провел в пионерском лагере балетного училища театра под Москвой, на речке Пахре. Это было светлое и веселое время!

Лагерь, несмотря на всю специфику балетного училища, почти ничем от обычных пионерских лагерей не отличался. Просто в нем жили ребята не из разных школ, а из одной, балетной. Я был единственным не из училища. И еще запрещали там играть в футбол, чтобы не калечили ноги, и мы тайком гоняли мяч в лесу. А другие лагерные утехы были налицо. Правда, все лето ребята еще и работали — готовили к постановке настоящий полнометражный балет (помню, как лагерь все лето жил «Красным маком»). Это было никак не в нагрузку, а, наоборот, в удовольствие, репетировали охотно, с азартом, не без живого огонька соревнования и конкуренции. Причем все это было не в порядке самодеятельности, а на уровне самом профессиональном. Уже тогда, в тридцатые годы, училище насчитывало более ста лет своего существования и учили там всерьез. И уже тогда в традиционных концертах училища

покоряли зрителей такие будущие звезды, как М. Плисецкая, Р. Стручкова и многие другие...

В отличие от обычных лагерей было в нашем, балетном, наверное, чуть больше детских любовей. Лет в двенадцать мы в лагере всерьез и, помнится, очень чисто, по-рыцарски рассуждали о наших привязанностях, говорили о достоинствах наших дам сердца. Тем же любил заниматься и будущие примадонны. Как-то я заболел и попал в лазарет. Пока лежал там, кто-то незаметно клал мне цветы на подоконник. До сих пор не знаю, кто, но до сих пор помню и радуюсь. Осталось в памяти имя моей тогдашней «возлюбленной». Потом я потерял ее из виду, до сцены она почему-то не дошла. Но многие из тех, с кем мы тайком играли в футбол и в любовь, стали потом звездами Большого. Все они уже покинули сцену. Одни на пенсии, — к балетным она приходит рано, — другие преподают, а третьи уже ушли из жизни...

Тихая серебряная речка, таинственный ласковый лес, точеные гибкие фигурки девочек, недоступных, гордых и манящих, повальная шахматная лихорадка — все это теперь уже зыбко колышется в памяти в наплывах балетной музыки, звучавшей над лагерем. Если бы жизнь состояла из одного детства!

Большой был главной, но не единственной моей театральной привязанностью, хотя драматическая сцена меня так не захватила. Правда, и в драме тогда блистали таланты удивительные.

Появилось в те годы в столичной театральной жизни новое, удивительное явление — декады национального искусства. Обставлялись они со сказочно-царственной, прямо-таки вызывающей роскошью. Декады были призваны показать культурный расцвет ранее отсталых окраин страны, а выливались в какое-то поистине культовое, уже граничащее с религиозно-обрядовым, прославление Сталина. Вот как тогда описывалась в печати декада узбекского искусства со слов ее участницы, народной артистки СССР:

«Узбекистан готовится к декаде в Москве. В напряженные дни подготовки, забыв, что значит сон, мы, увлеченные одной мыслью — «нас увидит и услышит Сталин», — работаем с удвоенной энергией. Невозможно найти слов для описания чувств, овладевших мною, когда я вышла на сцену Большого театра. Во мне боролись два желания: одно — не отрываясь глядеть в ложу, где сидит Иосиф Виссарионович, и другое — играть как можно лучше.

...За кулисами движение и приглушенный говор. Все столпились у левой стороны сцены, смотрят на правительственную ложу. Едва покинув сцену, я стремглав бегу к товарищам. Каждый ревниво оберегает свое место. На просьбы посторониться слышу завистливые слова: «Ты со сцены лучше нас видела Сталина, не отнимай нашей радости!..»

А вот начало отчета о другой декаде, Киргизской:

«В тишине смолкнувшего зрительного зала раздаются величественные и властные звуки труб в оркестре. Огромная сцена Большого театра,

позади которой открывается панорама снежных гор Алатау, постепенно заполняется мощным потоком многих сотен людей. Бесконечное разнообразие красок в костюмах, в декоративном оформлении, в целом море живых цветов.

Участники Киргизской декады торжественной и горячей песней приветствуют своего друга и вождя. Песня о Сталине рождается в устах широко известных и любимых народом певцов Альмикула Усенбаева и Калыка Акиева, а затем переходит в широкий, могучий массовый гимн, подхватываемый всеми участниками декады».

О кино. Оно заговорило у меня на глазах. Это производило тогда впечатление чуда. И до него даже «немое» кино действовало на нас, детей, неотразимо.

«Броненосец Потемкин» и «Конец Санкт-Петербурга» — самые, пожалуй, сильные революционные ленты того времени, воспринимались нами, мальчишками, как документальные фильмы. Например, известные кинокадры о взятии Зимнего дворца, где на решетчатые ворота лезут атакующие дворец матросы и красногвардейцы, были для нас само собой разумеющимися, всамделишными. Уже взрослым я с удивлением узнал, что они постановочные.

Из волшебного мира «немого» кино, достигшего большого совершенства (вспомните хотя бы «Отца Сергия», сделанного еще в 1917—1918 гг.), мы вдруг попали в зал с заговорившим экраном. Эстафету «немых» революционных фильмов приняли оглушившие нас громом сражений звуковые картины. И получилось так, что одна из первых таких лент стала лучшей. В ноябрьские праздники 1933 года на экраны влетел на своей тачанке Чапаев. И до сих пор «Чапаев», можно сказать, не сошел с экрана. Б. Бабочкину удалось создать такой живой образ легендарного героя, ярче которого в нашем революционном кино, пожалуй, и нет. Открытием и откровением в фильме был также «белый» враг, царский полковник, человек жестокий, но умный, тонкий, любитель музыки... Этот образ можно, вероятно, поставить в начало ряда тех врагов революции, которые в литературе и искусстве постепенно стали отличаться от ходящих белогвардейцев. Отчетливо помню, что полковник из «Чапаева» для меня незамеченным не прошел.

«Мы из Кронштадта» — еще одна из главных кинолент нашего детства. Обаяние фильма усиливалось тем, что его героями были военные моряки. По масштабу, развороту и, я бы сказал, глубине сюжета он мог бы поспорить с Чапаевым и, мало этого, мог бы оттеснить его на второе место, будь в этой ленте о кронштадтских моряках такой же главный герой, как Чапаев.

В середине тридцатых годов гремела трехсерийная картина о питерском большевике Максиме («Юность Максима», «Возвращение Максима», «Выборгская сторона»). Б. Чирков в главной роли был очень хорош, прост и достоверен. Запомнился всем и М. Жаров, уже в этой

ленте создавший тот свой образ, с которым он прошел по экранам почти полвека.

Нельзя не вспомнить, говоря на эту тему, и о том, что все детство мальчишек тридцатых годов прошло под знаком подвигов «Красных дьяволят», юных героев гражданской войны. Они пришли к нам раньше «Чапаева», но даже он не затмил их, а просто чуть отодвинул с авансцены, поставив следом за собой, как старший младших.

Из многих других картин на революционные темы запомнился, как это ни странно на первый взгляд, фильм «Депутат Балтики». Герой его — старый профессор Полежаев, казалось бы, далек от юного зрителя. Но сыгран он был гениально тогда еще молодым Н. Черкасовым. Последний в те годы создал в кино несколько образов, обессмертивших ленты с его участием: детский фильм «Дети капитана Гранта» (ученый Жак Паганель), исторический фильм «Александр Невский» (Невский — Черкасов), «Петр I» (роль царевича Алексея)...

Одной из памятных лент о революции для меня осталась навсегда «Последняя ночь», где революция очень наглядно показана в нескольких разрезах. В этом фильме роль гимназистки, дочери фабриканта, блестяще сыграла Т. Окуневская, сценическая судьба которой была куда бледнее, чем ее большой талант. Остался со мной и до сих пор фильм «Встречный», потому, наверное, что вошел он в жизнь страны и мою с прекрасной песней, которую тогда пели все: «Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река...» А первокласснейший поэт, ее автор, погиб в дни своей самой большой популярности, оказавшись среди множества других жертв массового террора.

В тридцатые годы появилось много картин, в которых злодействовали шпионы и враги народа, их всех всегда благополучно разоблачали бдительные органы власти и население. Из этой продукции помню фильм «Партийный билет». В нем, помимо шпионской фабулы, был еще втиснутый в нее любовный треугольник, потому, видно, и выделился он у меня из ряда аналогичных шпионско-вредительских лент. В те же годы была запущена серия картин о «счастливой жизни» колхозной деревни. Все они ставились с большой помпой и восторженно рекламировались в печати, являясь как бы киноиллюстрацией к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (например, «Богатая невеста», и «Трактористы»).

Еще одно киновоспоминание. Москву тогда одевали в асфальт, и в котлах, где днем варили вар, ночевали беспризорники. Они были неотъемлемой частью города в раннем моем детстве. И вот мы увидели их на экране и услышали их в «Путевке в жизнь». Они на экране и в самом деле ничем не отличались от ребят в лохмотьях, которых мы ежедневно встречали на улицах. Николай Баталов и Михаил Жаров именно в этом фильме получили тот заряд популярности, который вывел их потом в большие звезды нашего кинематографа.

В те же годы завоевал зрителя Игорь Ильинский. Лучшие кинокомедии игрались с ним во главе. В «Празднике святого Йоргена» он блистал вместе с молодым М. Кторовым, в «Процессе о трех миллионах» — с тем же Кторовым и обаятельной Жизневой, в «Волге-Волге» — с Л. Орловой и В. Володиным (популярнейшим тогда актером оперетты). Из комедий тех лет сохранилась до сих пор и лента «Три товарища», в которой авторы попытались разобраться в обнаружившихся вдруг сложностях новой экономики. Этот смысл картины нам, детям, был тогда, разумеется, неведом, но прекрасное трио — Н. Баталов, А. Горюнов, М. Жаров — заставляло весело смеяться и старых и малых. Одной из самых популярных комедий стал музыкальный фильм «Веселые ребята», в которой по праву царил Леонид Утесов. Замкнули эту серию хороших веселых лент тридцатых годов вышедшие на экран перед самой войной «Музыкальная история» и «Сердца четырех». В первой солировали С. Лемешев (он пел полкартины) и З. Федорова, во второй — В. Серова. Обе дебютантки были талантливы, хороши собой и, мне думается, являлись характерными переходными типами актрис — от их естественной простоты в 30-е годы к более сложным синтетическим образам нового периода развития нашего кино. К сожалению, обеим актрисам судьба не улыбалась: Федорова угодила без вины за решетку, как и многие другие ее коллеги, а у Серовой жизнь просто не сложилась.

И в те годы ставилось немало картин по известным литературным произведениям. Видимо, именно в силу добротности их сюжета многие из них запомнились. В первую очередь «Бесприданница» А. Протазанова, на мой взгляд, одна из наиболее выдающихся лент нашего кино. (Любопытно, что после выхода ее на экраны она была разгромлена нашей критикой.) Врезалась в память вышедшая в канун войны «Пышка» (по Мопассану). Я из подростка уже превращался в юношу, и потому меня захватывал и сам сюжет, и прекрасный актерский ансамбль: Г. Сергеева в заглавной роли, А. Горюнов, Ф. Раневская, Т. Окуневская. И уже под первые взрывы Великой Отечественной прошла премьера «Маскарада», в котором Н. Мордвинов стал Арбениным, по моему, единственным и неповторимым, самым лермонтовским.

Едва наше кино заговорило, на экран вышел Ленин. За ним, вначале на втором плане, появился Сталин. Но последний не долго был в тени. Он и на экране стал самым главным. Даже тогда, когда речь шла о событиях, в которых он играл более чем скромную роль. Кино, самый массовый и самый доходчивый рупор пропаганды, вложило в культ Сталина все, что было возможно и невозможно. И чем глубже и шире развивался этот процесс, тем бледнее и тусклее становились фильмы. Дошло до того, что к фильмам, официально признаваемым удачными, непременно привязывали имя «великого Сталина», словно их режиссера-постановщика. Так, о «Щорсе» Довженко можно было прочитать: «Задание Сталина Довженко блестяще выполнил».

Да и вообще со временем ко всему в нашем искусстве, что заслуживало официального одобрения, приклеивался ярлык «сталинский». Незадолго до войны были придуманы так называемые сталинские премии, которые стали регулярно выдаваться деятелям искусства, литературы, науки.

Большим, говорят, любителем кино был Сталин, и оно пострадало в период культа от его вкусов порядочно. Посмотреть сегодня такие официально-популярные фильмы той эпохи, как, скажем, «Поезд идет на восток» и другие, — удивительный эксперимент! К какому откровенному убожеству принуждали создателей фильмов и зрителей! Пырьев, например, на склоне жизни поставивший «Идиота» и «Братьев Карамазовых», в те времена занимался такими дешевыми поделками, как «Кубанские казаки».

Зарубежных фильмов в 30-е годы показывали мало. Только Чарли Чаплин, вначале «немой», потом звуковой, смог довольно прочно обосноваться на нашем экране. Особенно популярен был у нас его фильм «Новые времена», шедший в Москве в 1936 году. Потом и великий Чарли исчез с нашего экрана, несмотря на свою колоссальную популярность.

КНИГИ

Меня научили читать и писать, когда мне было четыре года. Я не помню самого процесса обучения, как не помню того, как меня учили ходить. Мне кажется, что я читал и писал с самого рождения. Причем интересно, что первые воспоминания о практическом применении вдруг обретенной грамотности связаны именно с писанием, а не чтением. Мне подарили огромную толстенную тетрадь, похожую на бухгалтерский гроссбух или домовую книгу, подарили, наверное, по случаю того, что я овладел письменной грамотой. Я был счастлив, полюбил эту тетрадь больше всех своих игрушек (так восторженно относятся к писчебумажным принадлежностям многие дети) и тут же начал сочинять, как точно помню, вплоть до конкретных фраз, повесть о своем щенке и пьесу о рыцарях.

Что читал я в детстве и отрочестве? Все, что можно было. Без системы. Но, оглядываясь назад, теперь убеждаюсь, что дрянной литературы мне почти не попадалось.

С раннего детства, еще от отца, узнал и полюбил Некрасова и Есенина, которого в школе тогда не проходили. Читал и перечитывал Лермонтова. Он был у нас в доме в прекрасном старинном издании. Упывался «Героем нашего времени». Печорин был очень мне симпатичен. Жалел его и хотел быть похожим на него, но избыток юных сил и жизнерадостный характер не позволяли даже попытаться подражать ему.

Дело ограничилось только тем, что выучил наизусть его монолог «И теперь, здесь, в этой скучной крепости...».

Как и многие мои сверстники, с младенчества я был воспитан под знаком благоговейного преклонения перед Пушкиным. В этом плане школа уже только развивала заложенное с колыбели. Культ Пушкина, поэта и человека,— проверенная временем нравственная основа воспитания русского характера. Это тот культ, который можно возвеличивать и дальше.

Едва ли не столько же времени, сколько на Пушкина, в школе отводилось на Маяковского. Наша учительница литературы, Анна Алексеевна, очень незаурядная и темпераментная, была его восторженной поклонницей и старалась заразить нас той же страстью.

Горький. Его тоже учили в школе наверняка не меньше, чем Пушкина. В те годы он производил на меня сильное впечатление. Вначале прозой, потом драматургией.

По-своему, еще по-детски, но с интересом читал мальчишкой Льва Толстого, Достоевского и Гоголя. К Чехову с его грустной мудростью пришел позже. Думаю, в детстве совсем нелишнее впервые раскрыть книги наших великих классиков.

Тургенев, Алексей Толстой, Гарин-Михайловский, Лесков, Мамин-Сибиряк, Леонид Андреев, Гаршин, Вересаев, Станюкович, Куприн (он вернулся на родину незадолго до войны, и творчество его стало нам доступно) — вот другие мои русские писатели-воспитатели. Нет среди них Бунина, который в отличие от Куприна так и не собрался на родину, и потому наше поколение встретилось с ним позже.

В смысле познания России и русского характера мне много дал Алексей Толстой. Его я застал еще живым и здоровым, полным сил, преуспевающим графом в советских условиях 30-х годов. Я сталкивался с ним не раз там, где бывал с отцом по случаю разных культурных событий. Думаю, именно этот пустой титул «граф» импонировал Сталину, который любил пооригинальничать в подобных случаях: пустить в расход тысячи титулованных, но зато уж одного из них лично возвеличить.

Мне А. Толстой видится одним из тех, кто протянул совершенно необходимую нить из предреволюционных лет в наши дни. Еще в отрочестве я с самым живым интересом читал у него о том, как жили русские люди раньше, в канун революции, прямо передо мной, перед тем, как мне появиться на свет. В память врезались прежде всего характеры, на какие Русь всегда была богата и какие А. Толстой любил, понимал и сумел оставить для потомков. Характеры очень своеобразные, принадлежащие именно началу нашего века, небольшому по времени периоду, но значительному, поворотному в истории России.

Ошеломил в первом чтении Леонид Андреев. Конечно, для подростка это слишком сильно действующая литература. Однажды прочитанные еще в школьном возрасте «Рассказ о семи повешенных» или «Красный смех» остаются как бы врезанными в память навсегда. То же

самое и «Бездна». Она пугала и настораживала против этого мира, о ней часто вспоминал, но перечитывать боялся. Я и до сих пор, дожив до седых волос, никак не могу согласиться с Л. Толстым, который писал об Андрееве: «Он пугает, а мне не страшно». Нет, страшно. А потом главное, что пугает он вовсе не затем, чтобы испугать. Рядом с Андреевым стоял для меня Гаршин. Наверное, не случайно так похожи названия их шедевров: «Красный смех» и «Красный цветок». Я с детства любил читать предисловия и комментарии к книгам, мне были близки и образ Гаршина, и его творчество.

Рано полюбил Вересаева. Особенно «Записки врача». С их страниц со мной говорил умный старший друг, учил жить. Ему верил. Волновали и его повести, рассказы о смысле жизни, поисках пути.

Очень привлек меня как писатель и человек Гарин-Михайловский. Мне нравилась его деятельная жизнь, она казалась по-настоящему полной, несмотря на многие невзгоды и неудачи на пути писателя. Инженер-путеец, представитель такой новейшей по тем временам профессии, земледелец, блестящий советский человек, умный, красивый и обаятельный, большой талант... Его «Детство Темы» было одной из моих самых любимых книг. С неменьшим восторгом читал я его «Гимназистов» и «Студентов», его повести и рассказы, из которых, как мне виделось, начинался Куприн. Я постоянно искал, где можно достать Куприна. В те годы, когда он только вернулся, его так много не печатали, как теперь. В ходу были редкие, старые издания.

Много читал Мамина-Сибиряка и Лескова. Они обогащали познания о родине, о соотечественниках, живших до меня, но близких по крови и по духу.

Запомнился всполюшивший мое воображение роман В. Крестовского «Петербургские трущобы». Не бог весть какая литература, конечно, но книга открывала совсем неведомый мир, изнанку большого города. Роман не потрясал так, как, скажем, «Бездна» Андреева или «Морская болезнь» Куприна, но все равно подробно выписанные детали мерзостной стороны жизни застревают в голове.

Русская советская литература в 30-е годы не была такой обильной, как в наше время. Что запомнилось с той поры? «Разгром» Фадеева, «Кара-Бугаз» Паустовского, «Цусима» Новикова-Прибоя, книги Тынянова и Виноградова, оригинальные и познавательные. «Смерть Вазира Мухтара» и «Кюхля» Тынянова, «Черный консул» и «Три цвета времени» Виноградова, в которой он так живо рассказал о Стендале, очень меня заинтересовавшем. Из-за «Наполеона» Тарле на несколько лет я влюбился в Наполеона. Гремела в 30-е годы среди подростков книга Огнев «Дневник Кости Рябцева». Предвестник нынешних оживленных выступлений по проблемам полового созревания и половых отношений, она неожиданно остро для того времени ставила эти вопросы.

В 1940 году Шолохов закончил «Тихий Дон», но я пришел к нему не в отрочестве, а позже. С той поры запомнился «Петр I» Алексея Тол-

стого, созданный в середине 30-х годов. Еще заметным событием в литературе тех лет стали мемуары Игнатьева, царского генерала и графа, который, вернувшись из эмиграции к нам, стал и у нас генералом. Его книга «50 лет в строю» пользовалась ошеломляющей популярностью. Потому, наверное, что спокойно, я бы сказал, достойно, без пережима и излишней брани, со знанием дела рассказывала о России конца 19-го и начала 20-го века. Во второй половине тридцатых годов загребело имя Твардовского. Его высоко подняли за поэму «Страна Муравия», о деревне тех лет и ее проблемах. Но на такую тему написать обо всем, что поэт знал и думал, тогда было, разумеется, невозможно.

Одним из самых больших событий того времени было возвращение в 1931 году Горького из-за границы после долгого житья там. Встречали его как кумира. В 1936 году он умер и вскоре, во время очередного процесса над «врагами народа», было объявлено, что те «злодейски умертвили» писателя. Такая причина его смерти фигурировала в нашей современной истории до конца жизни Сталина.

Не меньше половины из прочитанных в детстве и отрочестве книг были иностранными. Сначала — Фенимор Купер, Луи Буссенар, Майн Рид, Александр Дюма, Жюль Верн, Марк Твен, Конан Дойль, Вальтер Скотт, потом — Брет Гарт, Джек Лондон, Эжен Сю, Диккенс, Гюго, Бальзак, Стендаль, Флобер, Мопассан, Мериме, Ромен Роллан, Драйзер, Келлерман, Олдингтон, Фейхтвангер...

«Последний из могиكان», «Зверобой», «Следопыт» и другие — через них, наверное, проходят все мальчишки. Прошел с восторгом и я. Есть в книгах Купера нечто большее, чем занимательность изложения, чем его симпатия к вольнолюбивым индейцам и осуждение жестокости белых завоевателей. Недаром сам Бальзак «рычал от восторга, читая его романы», а Белинский восхищался тем, как Купер из «видимой простоты творит великое и необъятное и... дает всему особый отпечаток». То же, думаю, можно отнести и к Майн Риду. Я читал его, как и Купера, в первых классах школы, но до сих пор помню, какая это была радость.

Читал я в то же время, в младших классах, и Луи Буссенара. Его самой знаменитой книгой была «Капитан Сорви-голова». В приключенческих романах Буссенара храбрые молодые люди действовали в самых экзотических краях и в самой опасной обстановке. Африка, Индия, Австралия, Канада, даже наша Сибирь — вот места, где его герои вершили чудеса и подвиги. Заодно перед читателем разворачивались живо описанные природа, обычаи...

И ни одно детство, наверное, не обойдется, без удивительных книг Александра Дюма — «Три мушкетера», «20 лет спустя», «10 лет спустя», «Граф Монте-Кристо».

Книги А. Дюма, Купера и Майн Рида заставляли задумываться и над такими понятиями, как честь, долг, порядочность, и очень наглядно обличали понятия, им противоположные.

Затем пришел черед Жюль Верна, который, кстати, в 30-е годы вышел и на наш экран, Марка Твена с его Томом Сойером и другими милыми юными героями, очень популярной у нас в то время «Хижина Дяди Тома» Бичер-Стоу. Событием стало открытие Шерлока Холмса и Ната Пинкертона, которые в те годы были не менее прославлены, чем сейчас Мегрэ.

В свой черед пришли ко мне добрые и злые рыцари, благородные дамы и веселый простой народ Вальтера Скотта. Айвенго, Ричард Львиное Сердце, Квентин Дорвард и многие другие, и сколько вокруг них всего выписано! Как старательно и в то же время с какой фантазией! Недаром, наверное, Пушкин сравнивал Скотта с Шекспиром, а Бальзак считал его своим учителем. Но, признаться, со школьных лет я Скотта не перечитывал, для меня он так и остался за той же чертой детства, за которой живут Купер, Майн Рид, А. Дюма...

Одновременно вошли в мою жизнь Джек Лондон и Брет Гарт. Было трудно выбирать между суровой мужественностью первого и мягкой человечностью второго. Все же сердце склонялось к Брет Гарту.

Как предшественник настоящей взрослой литературы открылся для меня, мальчишки, Гюго. Квазимодо и Эсмеральда из «Собора Парижской богоматери», раз встретившись на моем пути, навсегда остались со мной. Так же, как Жан Вальжан из «Отверженных», как Гуинплен из «Человека, который смеется». Думаю, что Гюго привлек меня и своим вниманием к женщине и ребенку, своими образами падших, но чистых женщин, несчастных, но одухотворенных детей. В предисловии к «Отверженным» он писал: «Пока не будут разрешены три вопроса нашего времени: унижение пролетариата, падение женщины вследствие голода, поглощение детей мраком ночи, до тех пор, пока будут существовать невежество и нищета, книги, подобные этой, не бесполезны». И в том же предисловии он более ста лет назад справедливо высказывал свое презрение и по отношению к нам, доживающим 20-й век: «Общество, которое допускает бедность и несчастье, человечество, которое допускает войну, мне кажутся обществом и человечеством низшего рода».

Где-то в то же время открыл для себя Диккенса, который посвятил свой талант детским судьбам. Добрые у него книги! И есть в них мелодия, главная струна, которая с такой силой звучит у Достоевского в «Неточке Незвановой».

После такой литературной школы путь вел к зарубежным вершинам — Бальзаку, Стендалю, Мериме, Флоберу, Мопассану. Их безбрежный и бесконечно увлекательный мир заполнил мое отрочество.

Непостижимый по своему объему и глубине главный труд жизни Бальзака не открылся бы мне в те годы во всем своем великолепии, во всем величии своего замысла, если бы я с моей любовью к предисловиям, послесловиям и комментариям не прочел его «Предисловия к «Человеческой комедии»». Более двух тысяч действующих лиц в почти ста пятидесяти произведениях — таким был невиданный замысел гениально-

го и, наверное, самого беззаветного труженика в литературе. И он в основном осуществил свой план! Написал-таки «Историю нравов» своего времени. Написал труд, какого, говоря его словами, «не оставили нам о своей цивилизации ни Рим, ни Афины, ни Тир, ни Мемфис, ни Персия, ни Индия». Этот подвиг писателя сравнить в мировой литературе не с чем.

Стендаль в те годы был для моего восприятия сложнее Бальзака, но тем не менее «Красное и черное» и «Пармский монастырь» я прочитал, не отрываясь. Возможно, причиной тому была молодость героев обоих романов и тот треугольник, который был в произведениях. Но уже тогда возникло ощущение тончайшей одухотворенности писателя, потом, с возрастом, это ощущение стало не интуитивным, а осознанным. И поэтому он стал для меня впоследствии выше, нежели его друг Мериме, которого я в отрочестве любил больше Стендаля. У Мериме я видел много действия и страсти. «Этрусская ваза», «Партия в триктрак», «Двойная ошибка», «Арсена Гийо», «Матео Фальконе», «Коломба», «Кармен», «Таманго» — какие прекрасные новеллы, какое восхитительное чтение, особенно для возраста, когда из подростка формируется юноша! И пусть не ужасаются литературоведы, во многих новеллах Мериме я вижу, чувствую какие-то общие, родные гены (говоря по-современному) с рассказами Гарина-Михайловского, Куприна и даже Бунина. Недаром, наверное, Мериме так полюбил русский язык, что выучил его. «Русский язык, — писал он, — самый богатый, насколько могу судить, из всех европейских языков. Он как будто создан для выражения тончайших оттенков». И недаром писал Тургенев в некрологе на смерть Мериме, что тот «положительно благоговел перед Пушкиным».

Вспомнил о Стендале и отложил перо в сторону. Взял с полки его «Жизнь Анри Брюлара» и целый день перечитывал. В школьные годы я любил читать разные «Детства». Открыв очередное новое для себя имя, всегда искал в предисловиях и послесловиях, нет ли у этого автора своего написанного им «Детства». Сейчас, перечитав «Жизнь Анри Брюлара», под, мал, что полвека назад я, вероятно, кое-что пропустил из текста книги. Подумал, поймав себя на том, что и сегодня скользил по некоторым бзацам по диагонали. Обилие, даже изобилие времени и досуга, отягощенного провинциальной скукой, писателя не торопили и не контролировали. В «Жизни Анри Брюлара» много имен и названий без характеров и характеристик. Но там, где речь идет о душе ребенка, Стендаль велик. Он вообще велик и одновременно трогателен в своей скромности, в своих мечтах о том, что его, быть может, будут читать в 1935 году.

Он пишет, что хочет доставить себе удовольствие по случаю достижения пятидесятилетнего возраста обернуться назад и сказать «прости» ушедшему. «Я должен написать историю своей жизни», — вдруг сказал он себе. И тут же ужаснулся: «Но сколько там будет ужасных «я»!»

И еще по поводу будущей книги о самом себе: «Но сколько нужно предосторожностей, чтобы не солгать!»

Флобер открыл для меня античный мир в «Саламбо», мир, который в мои школьные годы был мне неведом (минимальные официальные познания из учебника истории не в счет). Его Карфаген остался со мной на всю жизнь. Любовные коллизии в «Саламбо», «Госпоже Бовари» и «Воспитании чувств», выписанные рукой гениального мастера, помогли мне, подростку, входить в жизнь. Флобер четко определил суть, главный закон жизни: «Красота в том, чтобы любить. Если мы чего-нибудь да стоим, то только благодаря силе привязанности». В это хочешь верить отроком, в этом убеждаешься на склоне лет.

Большое впечатление произвел на меня Фейхтвангер. В 30-е годы он широко печатался у нас из-за резкой антифашистской направленности его прозы. Сегодня я отдаю себе отчет в том, что он больше историк-беллетрист, чем писатель. Благодаря доходчивости его прозы, насыщенной огромным фактическим материалом, я получал из его книг, как теперь говорят, много информации.

Его роман «Успех» был настоящей энциклопедией, анатомией Германии, а также и разрезом всего того предвоенного времени, не только германского. Со страниц «Успеха» передо мной вставали такая Германия и такая Европа, о каких мне никогда бы не узнать, пользуясь только учебниками, газетами и современной мне отечественной литературой. В ней нет романа, который так готовил бы читателя к ужасам и потрясениям грядущей войны, как «Успех». Да, впрочем, и быть такого произведения у нас не могло. В атмосфере 30-х годов такого рода роман у нас мог быть написан только в собственный стол.

Привлекало в «Успехе» меня и то, что авторские взгляды были заключены в удобоваримую облатку человеческих судеб и взаимоотношений. Особенно занимали отношения между мужчинами и женщинами. Они не могли не волновать юного воображения.

Но не только сюжет и вплетенные в него любовные коллизии привлекали в романе. Это был своего рода занимательно изложенный учебник по новейшей истории и философии. Мы, подрастающее поколение, в плане философском воспитывались убого. Мысли писателя, абсолютно для нас новые, непривычные, заставляли думать, а не просто принимать на веру.

Представьте себе, каково это было читать у нас, в атмосфере 30-х годов, вольнолюбивые рассуждения Фейхтвангера. Причем они были направлены не только на разоблачение фашизма. Им ставились под сомнение многие непререкаемые для нас истины. Герой «Успеха», писатель Тьюверлен, во многом голос самого автора, изрекал, например:

«Один великий человек... именно Карл Маркс, сказал: философы объясняли мир, задача теперь в том, чтобы переделать его. Я лично думаю, что единственный способ переделать его — это объяснить его. Сколько-нибудь удовлетворительно объяснить его — значит тихо и без

шума переделать его воздействием разума. Переделать его силой пытаются лишь те, кто не в состоянии удовлетворительно объяснить его». И дальше, словно обращаясь прямо к нам, поколению, у которого с раннего детства пулемет был овеян славной и святой легендой: «Я больше верю в силу написанного слова, чем в пулеметы».

Благодаря замечательному историзму и легкости изложения хорошо читались и другие романы Фейхтвангера, которые он к тому времени успел написать и которые у нас быстро переводились на русский. «Безобразная герцогиня», «Еврей Зюсс», «Семья Оппенгейм» и другие. Последний роман продолжал и развивал основную тему «Успеха», но в нем уже фигурировал не зародыш фашизма, а тот самый фашизм, с которым нам вскоре, в 1941 году, предстояло столкнуться.

Прогрел Фейхтвангер и своей публицистической книгой «Москва, 1937 год». В ней он набросал немало весьма характерных черт того периода культа Сталина. Но при этом автор скользил по поверхности (в противном случае книгу у нас не издали бы). Думаю, что сделал он это не по недомыслию, а намеренно, не забывая, кстати, весьма подобострастно относиться к «великому вождю». И без писательского взгляда на жизнь уже тогда было видно, каким ужасом оборачивался этот так называемый культ. Но Фейхтвангер понимал, что Советский Союз, пусть и во главе со Сталиным, является главной силой, стоящей на пути немецкого фашизма. Поэтому он не мог позволить себе роскошь раздражать Сталина. Трагедия собственного народа была для писателя ближе, чем трагедия нашей страны.

Благодаря Эптону Синклеру я узнал Соединенные Штаты. Интерес к этой стране сохранился на всю жизнь. Не раз затем, побывав там, я смог убедиться, что Синклер был искренен в своих суждениях как в тех случаях, когда у нас восторгались им, так и в тех случаях, когда у нас его порицали. «Джунгли», «Джимми Хиггинс», «Король-уголь», «Столица», «Сильвия» — все это сделано резкими, сильными и даже грубыми мазками, не очень, конечно, подходящими для чтения в школьном возрасте. Недаром Джек Лондон сказал о его книге «Джунгли», что «в ней есть какая-то звериная жизненность».

Бернгарда Келлермана начал читать всего подряд после того, как случайно уткнулся в «Ингеборг». Тогда, в период созревания чувств, меня этот роман, который сам автор назвал лирическим, захватил целиком и потряс воображение. Другие его книги, прочитанные затем мною, были уже иного плана. Самое сильное впечатление произвел «Туннель».

Носящая довольно абстрактный характер тема любви в «Ингеборге» обрела для меня плоть в романах Олдингтона. На несколько юных лет он стал одним из моих кумиров. «Смерть героя», «Сущий рай», «Дочь полковника» были для меня как молитвенники. Право, о нем можно сказать, что он вообще является юношеским писателем. Возможно, сам он об этом адресе своих произведений не задумывался. Целомудренный

и даже наивный, Олдингтон затрагивает в душе струны, звучащие в юные годы.

«Жан Кристоф» и «Очарованная душа» Ромена Роллана оказали на меня сильное влияние. Детские и юношеские годы Жана Кристофа были как нравственная школа. Неизгладимыми в памяти остались образы Аннет и Аси из «Очарованной души».

Не было в чтении моем в те годы ни системы, ни меры. Но вот интересное суждение Марины Цветаевой, в которую я влюблен через время. Она пишет о чтении детьми «взрослых книг»: «Дети — не поймут? Дети слишком понимают! Семи лет Мцыри и Евгений Онегин гораздо вернее и глубже понимаются, чем двадцати. Не в этом дело, не в недостаточном понимании, а в слишком глубоком, слишком чутком, болезненно верном!»

Оглядываясь назад, вижу, что литература дала мне неизмеримо больше, чем школа.

Переходя из отрочества в юность, я открыл для себя Анатоля Франса. У многих, наверное, есть своя настольная книга, своя библия. Такой книгой для меня стали «Воззрения аббата Жерома Куаньяра». Прошли десятилетия, прошла юность, пора зрелости... Прочитано и увидено много. По-прежнему вершиной мудрости, тонкости и нежности остался для меня Жером Куаньяр, его разум и душа в «Воззрениях», его образ в «Харчевне королевы Гусиные Лапки».

«Воззрения» для меня — это флагманский корабль всего обширного наследия Франса. Как ни похож бедный аббат на солидного Сильвестра Бонара, все равно именно первый является оригиналом, а второй — повторением, хотя «Преступление Сильвестра Бонара» было написано раньше «Воззрений». И как ни перекликаются темы «Воззрений» с другими произведениями Франса, именно аббату доверил писатель выразить все свое самое сокровенное, отлитое в самую совершенную форму.

Может быть, моя пожизненная верность одному кумиру сама по себе говорит о моей известной ограниченности, неспособности к развитию, вечному поиску и беспокойству. Может быть. Но факт остается фактом. Правда, потом, много лет спустя, так же властно ворвался в мою жизнь Михаил Булгаков с его «Мастером и Маргаритой» и «Театральным романом». Вместе с «Воззрением» Франса том Булгакова встал в моем личном шкафу на полке, скрытой от чужих глаз и рук. Так же, как и в душе моей, они стоят рядом, не споря друг с другом. У Булгакова та же мудрость, тонкость и нежность, которые я вижу у Франса. И та же пророческая грустная улыбка.

И небольшой рассказ Франса «Прокуратор Иудеи» — как бы эскиз к герою Булгакова в «Мастере и Маргарите». Булгаковский Понтий Пилат сделан по штрихам, четко намеченным в рассказе Франса.

Такое родство душ и талантов и какие разные судьбы! Долгая, полнокровная, заполненная творчеством до краев жизнь Франса и короткая,

скомканная, исковерканная жизнь Булгакова, которому не давали возможности работать.

Я, разумеется, сам не ощущал в те годы той атмосферы в литературе, в какой пришлось жить и работать Булгакову, но атмосфера эта, как и вся наша обыденная жизнь, конечно, отражалась — не могла не отражаться! — на наших школьных уроках литературы, на нашем воспитании вообще. В нашей критике тогда процветали такие статьи, как: «Галимаття Андрея Платонова», «В стороне от жизни» (о Б. Пастернаке) и т. п. Писались они в стиле хулигански-наглom и невежественном.

В прозе Цветаевой и Булгакова оживает тот самый район Москвы, в котором я рос. У Цветаевой он присутствует в начале нашего века, у Булгакова — на рубеже двадцатых — тридцатых годов. Мои родные улицы и переулки, исхоженные в детские и подростковые годы и так горячо, навсегда мною любимые!..

«Дом у Старого Пимена» — так названо одно из цветаевских воспоминаний. Старопименовский переулок, пересекаемый Воротниковским, — вот тот крестик на карте Москвы, где я начался, вот моя Родина.

НАКАНУНЕ

По нашей просторной школе с особой пронзительностью разносилось завывание сирены, возвещавшей о воздушной или химической тревоге. Пока учебной...

С ее первыми звуками мы выскакивали из-за парт и пулей вылетали из классов, устремляясь на свои «боевые посты». Оглушительно хлопали тяжелые классные двери, гулкой дробью рассыпался по паркету топот сотен бегущих ног. Несколько минут, и все замирало: школа изготoвилась к воздушному (или химическому) нападению. Все стояли на своих постах, у каждого на боку — противогаз.

В те годы противогаз был таким же спутником нашей жизни, как, скажем, ранец или портфель. Все были убеждены в том, что будущая война будет химической. И готовились к ней основательно. Наряду с уроками математики, истории и физкультуры запомнились занятия по химической обороне. Нам часто после уроков читали лекции о боевых химических отравляющих веществах и мерах защиты от них. Книжки, по которым мы готовились к химической войне, были потолще наших учебников. До сих пор в голове застряли названия газов: иприт, фосген, люисит... Мы знали их по запаху и цвету. Значок ПВХО (противовоздушная и химическая оборона) красовался на груди многих ребят, начинающая класса с пятого-шестого. Рядом с ним обычно висели и другие: «Ворошиловский стрелок», «ГСО» (готов к санитарной обороне), «БГТО» (будь готов к труду и обороне) — физкультурный.

Зря эти отличия не выдавались. Нужно было приложить немало усилий, чтобы получить их. К тому же они были двух ступеней, и значок с цифрой «2» свидетельствовал о том, что его владелец, получив отличие первой степени, не остановился на этом, а затратил еще немало сил и времени, чтобы подняться на более высокую, вторую ступень. К тому же были отличия для взрослых и детей отдельно. Скажем, физкультурные значки БГТО (для детей) и ГТО. Способные и сильные школьники устаивались не только значков БГТО, но и ГТО, то есть выполняли взрослые нормы.

Все эти значки были тогда весьма популярны, мы старались заслужить их, причем без нажима со стороны взрослых. Вся окружающая нас действительность была такова, что изучение газов, винтовки, пулемета было делом естественным и необходимым. У меня же дома свой противогаз, специальная детская модель, без длинной гофрированной трубки. Видел я в те годы и совсем уж необычное средство защиты — противогаз-палатку, рассчитанный на младенцев до трехлетнего возраста. «Надень противогаз» — так прямо и называлась опубликованная в 1936 году статья начальника Управления противовоздушной обороны, командарма 1-го ранга С. Каменева. А в популярной детской кинокартине «Личное дело» два ее героя, школьники, во время учебной воздушной тревоги надели противогаз на бюст Сократа, стоявший в физическом кабинете.

Надвигавшаяся военная гроза и наша отчасти военизированная школьная жизнь накладывали отпечаток на детские интересы и забавы. Я, например, еще в младших классах начал делать порох и строить пушки, из которых усердно палил. Кто-то поведал мне состав дымного пороха (возможно, я его вычитал): сера, селитра, древесный уголь — все, разумеется, в определенных пропорциях. Селитра покупалась в аптеке. Древесный уголь тоже не был проблемой. А вот сера добывалась весьма оригинальным способом. Оказывается, ею заливались отверстия, в которые вставлялись металлические стойки лестничных перил. Это откуда-то проведал один мой одноклассник, тоже «специалист» по домашнему пороху. Не знаю, употребляется ли сера сегодня на лестницах, но в нашем школьном здании мы добывали ее именно на лестницах. Счищали пыль и грязь у основания стойки и затем выковыривали серу. Смешав ее в нужной пропорции с селитрой и углем, я получал самый элементарный порох. Оставалось найти металлическую трубку, заделать ее с одного конца и пропилить у этого конца небольшое отверстие. Пушка готова. Набиваешь в нее порох, пыж и ядро (подшипник), поджигаешь заряд через пропиленное отверстие и — бах! Ядро летит в одну сторону, пушка — в другую. Сколько таких и других подобных экспериментов было на моем счету! В квартире все двери и стены носили на себе следы моей пальбы. До сих пор удивляюсь, что не лишился глаз, не изуродовал лицо, остался цел и невредим.

Потом, с годами, ближе к войне, эта моя артиллерийская лихорадка уступила место военно-морской. Возмечтал вдруг о флоте. Без конца срисовывал корабли всех времен, вычерчивал их схемы, читал популярную специальную литературу, учил азбуку Морзе, морские флаги, морской семафор... Лет в пятнадцать твердо решил связать свою жизнь с флотом и кораблестроением.

Кем бы я захотел стать, если бы не постоянная военная лихорадка, в которой мы росли? Может, все равно моряком? Не знаю. Во всяком случае, тогда многие ребята стремились в военные училища, особенно в авиационные и военно-морские, и конкурс был туда огромный.

«Выросли мы в пламени, в пороховом дыму» — пелось о первом революционном поколении. Мое поколение росло уже не в пламени, но ветры, нас обдувавшие, всегда несли с собой пороховую гарь. Едва успела она рассеяться после гражданской войны, как уже с конца двадцатых годов снова начали собираться пороховые облака, сгустившиеся потом, в тридцатые годы, в грозовые тучи.

Да, не совсем обычной была атмосфера, в которой мы росли. С одной стороны, не только сердцем, но и кожей своей ощущали мы жар огней Октября. С другой — новая военная тревога была постоянно с нами.

...Торжественный пионерский сбор в школьном физкультурном зале. Повод не совсем обычный. Сегодня нашим почетным гостем является Бонч-Бруевич, один из ближайших сподвижников самого Ленина. Он рассказывает о нем так, словно они вчера расстались, хотя прошло уже десять лет с января 1924 года.

Целых десять лет... Для детей это непостижимо большой отрезок времени. Мы слушаем Бонч-Бруевича и воспринимаем его рассказ о Ленине и революции как воспоминания о событиях почти легендарных, и в то же время он стоит перед нами, живой и не очень старый: Он принес с собой, в наш зал, саму атмосферу той эпохи, которую мы изучали в школе уже как историю. А она, эта история, оказывается, еще рядом, вот в этом седом человеке, в его теплой руке, которую бесчисленное количество раз пожимал сам Ленин! Сегодня Бонч-Бруевич подает мне сзую руку после того, как я, председатель совета нашего пионерского отряда, надеваю ему галстук почетного пионера.

А в следующий вечер мы в другой эпохе, которая уже надвинулась на нас, предвещая неминуемую войну. Вместо сбора в физкультурном зале мы столпились в школьном подвале. Он давно и капитально переоборудован в стрелковый тир. И мы ложимся по очереди на маты и стреляем по мишеням. От затворов поднимается сизый дымок с резким и уже хорошо знакомым нам пороховым запахом. Он почему-то приятно щекочет ноздри...

Разбираем и собираем прославленную русскую винтовку и пулемет. Изучаем ружейные приемы: «На-а пле-чо!», «К но-ге!», «Ко-ли!...».

Маршируем на еще не осточертевших нам строевых занятиях. Поем боевые песни наших отцов. Прыгаем с парашютной вышки.

Незадолго до Великой Отечественной войны меня, уже комсомольца, вызывают в райком комсомола. Велят ходить на курсы топографов. Почему топографов? Мне это не нравится, кажется обидным. Пресса и радио зовут молодых в авиацию и на флот, а меня посылают в топографы! Не хочу! Но новенький еще комсомольский билет велит. Как бы все же увильнуть от этих курсов и заняться более подходящим для мужчины делом? Мои сомнения разрешила война. Из-за нее на курсы топографов я так и не попал.

Не только наша военизированная школьная жизнь окутывала нас предгрозовой атмосферой. Наши внешние, внешкольные впечатления и контакты постоянно предупреждали: «Помни о войне!», «Готовься к ней!» И так на каждом шагу. Скажем, строят метро, а в газетах пишут статьи под названием «Метрополитен и оборона страны». Кстати, в войну наше столичное метро сгодилось и для этой цели.

Уж очень много писалось и говорилось о необходимости бороться с надвигающейся военной угрозой. Так много, что она казалась неотвратимой. Всевозможные антивоенные конгрессы, митинги и прочие манифестации невольно вызывали и обратный эффект: мол, такой реальной беды все равно не избежать. Самые великие умы и таланты выступали в защиту мира. Горький, Роллан, Барбюс, Драйзер, Эйнштейн... Их страстные и красноречивые призывы доходили до миллионов. Упорно заседала Лига наций, прообраз ООН. А тем временем государственные военно-политические машины шли своим курсом — к войне.

Уже намечались контуры деления мира на два лагеря, которым вскоре предстояло биться друг с другом. В тридцатые годы, после прихода Гитлера к власти в Германии, к нам зачастили высокопоставленные представители США, Франции, Англии, Чехословакии. Их принимали наши руководители, сам Сталин; все эти встречи были в то время событием чрезвычайным, ведь много лет подряд страна наша находилась в почти полной изоляции, поскольку Запад не мог прийти в себя после шока, вызванного Октябрьской революцией. Любопытно, что серию дипломатических контактов Запада с нами открыл... Муссолини! Об этом теперь мало кто помнит. В 1933 году в Москве Сталин и Муссолини подписали итало-советский акт о дружбе, ненападении и нейтралитете. В конце того же года произошло более важное событие: нас наконец-то признали Соединенные Штаты.

Вскоре слышались и первые раскаты идущей грозы. Год, второй, третий читали мы сводки с фронтов Испании. Пионерский вожатый рассказывал нам об этой войне, карты Испании висели в классах. И. Эренбург и М. Кольцов писали из Испании о ее борьбе.

Все прониклись симпатией и сочувствием к патриотам республиканской Испании. Ее символом, живым воплощением стала Долорес Ибаррури (Пассионария), страстная, с необычайной силой духа.

Зримо доносили до нас страшную быль о современной, невиданной ранее войне многочисленные снимки из Испании, рисующие последствия бомбежек. Это было наше первое, пока заочное, знакомство с воздушной войной.

Казалось бы, одних этих фотосвидетельств уже более чем достаточно для того, чтобы люди больше не играли в эти страшные игры. Казалось бы... Даже ядерный гриб Хиросимы, похоже, мало подействовал на людей.

Увидели мы и вблизи Испанию с ее горем. Увидели детей оттуда. Они прибыли к нам, спасаясь от бомб. Смуглые, черноголовые, очень живые, растерявшиеся сначала от обрушившейся на них лавины заботы и ласки. У нас их полюбили сразу.

Мы ездили к ним в их пионерский лагерь. Уже отошедшие от давившего на них ужаса, уже привыкшие к многочисленным знакам внимания испанские ребята прижились у нас. С детской восприимчивостью они быстро овладели русским языком.

Летом в лагере, зимой в городе жили они хорошо. Было у них все, кроме родителей и родных. Как только у нас ни старались скрасить им это вынужденное сиротство! Например, на центральном стадионе «Динамо» был устроен футбольный матч Испания — СССР, в обеих командах играли школьники. Лучшим на поле был мальчишка по фамилии Гомес. Потом, несколько лет спустя, он играл в столичной команде «Торпедо», был одним из ее лидеров, одним из лучших в стране защитников. После войны он вернулся на родину, как и большинство испанцев, приехавших к нам детьми в тридцатые годы. Говорят, что потом жизнь Гомеса в Испании сложилась неудачно, как, впрочем, и у многих других его соотечественников с такой же судьбой.

В нашей стране все они окончили школу, многие пошли в вузы. Начали работать. Казалось бы, живи себе... Но тот самый горький дым отечества, который провожал их в тридцатые годы, стал со временем для них, как это ему и положено, сладким. Их потянуло на родину, несмотря ни на что. А ведь им была уготована в Испании отнюдь не райская доля. И, возвращаясь на родину, они вовсе не были уверены, что обретут там счастье. Они бросали здесь дом, работу, покой, друзей, расставались с налаженной жизнью. И все же они стремились туда, откуда их вывели, в сущности, еще несмышленными детьми. Голос крови, зов родины пересилил все.

Русские испанцы! Или испанские русские! Их доля типична для жестокоего века. Одни люди обездолили их, другие приютили, вернули им детство. Но не родину. Ее ничем не заменишь. Вырванные из родной почвы в раннем детстве, они, вернувшись, едва ли были способны снова врасти в нее.

Для моего поколения они были первыми беженцами, спасавшимися от войны. Кто бы мог подумать, когда мы встречали их с распростертыми объятиями, что через несколько лет и у нас война разбросает по

стране уже не сотни и тысячи, а миллионы беженцев, так называемых эвакуированных. И что окажутся они в условиях весьма неблагоприятных, не то что испанские дети, попавшие в Советский Союз в 30-е годы.

С Испанией мы не были соседями. А вот у наших дальневосточных границ постоянно тлел огонь войны, чадил и коптил небо, не давая забывать о себе. Сколько лет мы ожидали, что наша война вспыхнет именно на Дальнем Востоке! Поводов для таких опасений было достаточно. Японцы вели себя весьма агрессивно. «В ответ на провокационные выступления японской военщины на дальневосточной границе крепить оборону Родины!» — этот лозунг не снимался с повестки дня. Мы пели песни о нашей дальневосточной армии («Дальневосточная, опора прочная...»), легендарным было имя её командующего Блюхера (ставшего затем жертвой культа личности), без конца мы читали и слушали о подвигах наших пограничников.

Кульминацией бесчисленных столкновений на дальневосточной границе стали бои у озера Хасан и на реке Халхин-гол. О них тогда официально у нас подробно не сообщалось, был громко оглашен только их конечный результат: наши войска разгромили японцев. Но было ясно, что там прошла генеральная репетиция будущей войны. В печати проскальзывали детали о столкновении крупных соединений, о том, что воды Хасана и Халхин-гола окрасились кровью.

В который раз история пошутила: открытого вооруженного конфликта между нами и Японией не было до самого 1945 года! Тогда мы уже добивали самураев не на своей земле.

В 30-е годы на Дальнем Востоке дело одними пограничными конфликтами не ограничивалось. Японцы вели долгую и кровопролитную войну в Китае. «450 миллионов китайцев не станут рабами империалистической Японии!» — это был один из тех лозунгов, под которыми росло мое поколение. Он во многом определял наше интернациональное воспитание. О японской агрессии в Китае и борьбе с нею у нас писали в то время очень много. Мы знали по описаниям и портретам Мао Цзэ-дуна, Линь Бяо, Чжу Дэ и других китайских руководителей, знали о боях 8-й народно-революционной армии. Весь наш народ был вместе с борющимися Китаем и его руководителями, которые у нас представлялись подлинно революционными героями. Объяви тогда у нас призыв добровольцев в помощь Китаю, уверен, миллионы откликнулись бы на него и направились бы в Китай для его защиты с оружием в руках.

Война в Испании, война в Китае, конфликты на нашей дальневосточной границе, наконец, итальянская агрессия в Абиссинии (широко у нас разоблачавшаяся) — казалось бы, достаточно военных огней для детства одного поколения. Но нет! Вспыхнул он и в Европе, совсем рядом.

Началась война исподволь, не сразу с пушек и бомб, но тем не менее с трагедии целой страны. Немецко-фашистские войска захватили

Судеты. Чешские беженцы первыми приняли на себя горе надвигавшейся войны. А вскоре заговорили и пушки.

Начавшись в 1938 году, вторая мировая война уже на другой год охватила огромную территорию от Гибралтара до Шанхая, втянув в свой водоворот около трети населения земного шара. Но главные кровавые события разворачивались в Европе. За сорок шесть дней Германия повергла к своим ногам несколько стран Западной Европы, включая Францию.

Поначалу отношение у нас к этой войне было вполне определенное: «Новую империалистическую войну затеял и ведет один империалистический блок — союз фашистских держав, угрожающий всем народам». «Фашистские людоеды», «фашистские агрессоры» — вот определения, в точности которых у нас никто не сомневался.

Еще задолго до начала войны в интернациональном нашем воспитании была очень сильна струя солидарности с немецкими антифашистами. Литература и музыка Германии всегда были любимы у нас. Приход к власти фашистов был для нас потрясением, вызвавшим к ним ненависть.

И вдруг!.. 23 августа 1939 года — советско-германский договор о неападении. И сразу с наших газетных и журнальных страниц сдуло фашистских «варваров», «людоедов» и «агрессоров». Этой метаморфозой дело не ограничилось. В газетах появились фотографии нацистских руководителей, встречавшихся с нашими...

По моему, даже игроки на зеленом поле «Динамо» замерли на мгновение, когда над нашим родным стадионом вдруг выплыл из-за Восточной трибуны серый толстобрюхий самолет с фашистской свастикой на крыльях и хвосте. Каждый, конечно, знал о неожиданном-негаданном договоре с Германией, но появление самолета со свастикой над Москвой производило впечатление ошеломляющее. Он пролетел низко-низко над нашими головами, идя на посадку на Центральный аэродром, расположенный неподалеку от стадиона.

В сентябре 1939 года вся наша школа была собрана в физкультурном зале, и там нам сообщили о речи Молотова по радио. Ее суть была: Красная Армия вступила в пределы Польши, чтобы взять под защиту единокровных украинцев и белорусов в Западной Украине и Западной Белоруссии. До этого Польша уже была размолота Германией.

Слушая это сообщение, я впервые в своей короткой жизни с испугом подумал: «Война!» В тот момент мне все рисовалось так: мы перешли границу, вошли в чужие земли и, пытаясь защитить украинцев и белорусов, не сегодня — завтра столкнемся с фашистской армией. Этого, как известно, не произошло.

И даже этот непростой процесс воссоединения земель Западной Украины и Западной Белоруссии с нами проходил, как и решительно все у нас в то время, под знаком неземной любви к «гениальному Сталину». Вот сообщение корреспондента ТАСС из Западной Белоруссии от

24 сентября 1939 года: «Крестьяне полностью удовлетворены. В дверях один из них останавливается, вынимает из кармана газету с изображением товарища Сталина, целует его, крепко прижимает к сердцу».

Осенью 1939 года был подписан советско-германский договор о дружбе и границе между СССР и Германией (после разгрома Польши). Но война все настойчивее стучалась в наши двери. Пришла небывало суровая зима 1939 года и принесла с собой финскую войну. Страшные морозы в тот год часто освобождали нас от школьных занятий, а еще более страшные слухи ползли по городу и леденили сердце. Слухи о тяжелейших наших потерях, о совершенно неожиданных наших военных неудачах, о нашей, во многом самой элементарной, неподготовленности к такого рода испытаниям.

В самом начале финской войны у нас с улыбкой сравнивали население одного Ленинграда и всей Финляндии. Сравнение было не в пользу последней. А вот война с Финляндией завязла. И какой неожиданно для нас большой кровью обернулась она! В канун Великой Отечественной финская война должна была бы стать уроком, грозным нам предостережением. Но не стала...

Первые сводки о войне в Финляндии сообщали о нашем победном наступлении на разных направлениях. С конца 1939 года пошли такие формулировки о положении на фронте, как: «не произошло ничего существенного». А в начале 1940 года мы все с изумлением читали в газетах: «В течение 9 января на ухтинском направлении происходили бои пехотных частей, в результате которых наши части отошли на несколько километров». Затем последовало в печати опровержение штаба Ленинградского военного округа, в нем отменялись слухи о больших наших потерях и поражениях.

История учит, что настроение «шапками закидаем!» всегда создать нетрудно. Вот, например, такое журнальное фото: «Стрельба по самолетам с тачанки». По традиции ехали навстречу воздушной войне все еще на тачанке... А предвоенные песни, фильмы, публицистика и беллетристика!.. «Если завтра война, если завтра в поход» — вот их главная тема. Но этим пророческим предупреждением дело не ограничивалось, их содержание сводилось к тому, что мы мгновенно разобьем врага «малой кровью, могучим ударом», да еще на его же территории. Популярными стали перед самой войной литературные подделки под рубрикой «Эпизоды будущей войны». В них мы быстро, без хлопот и потерь уничтожали врага и одерживали победы.

Тем временем надвигалась настоящая война. Хотя на первый взгляд мы с Германией ссориться не собирались. Фашистский министр иностранных дел Риббентроп приезжал в Москву, наш Молотов ездил в Берлин, виделся там с самим Гитлером. Тем временем немецко-фашистские войска разделились с половиной Европы, стремительно сокрушив при этом некогда великую Францию. В ту пору военные победы Германии производили ошеломляющее впечатление. Несколько немец-

ких дивизий начали было успешно завоевывать Северную Африку. На волоске висела судьба Англии, которую фашистская авиация жестоко бомбила.

В наших школьных коридорах стали все чаще попадаться новенькие, с иголки, военные мундиры. Это вчерашние наши выпускники, ушедшие в военные училища, навещали свой дом, ставший родным за десять лет учебы. Они приходили не только затем, чтобы похвастаться формой и своим бравым видом. У нас, в школе со стародавними традициями, среди учителей, как я уже отмечал, было несколько действительно замечательных личностей. К ним и приходили их воспитанники.

Однажды, незадолго до войны, наш математик привел с собой на урок юношу в форме танкиста, только что окончившего училище и куда-то посылаемого для прохождения службы. Представил нам его как своего любимого ученика, говорил старик о нем так трогательно, что голос у него дрожал. Весь урок парень простоял у стенки, почему-то отказавшись сесть за парту на свободное место. Его влюбленные глаза не отрывались от нашего учителя, который время от времени тоже нежно поглядывал на своего ученика. Это было прощание. Старик знал это. Наверное, нечто подобное, пусть и не так осознанно, ощущал и парень. Неправдоподобно юный для военной формы (таким я вижу его сейчас), розовый, свежий, чистый, подтянутый, весь устремленный вперед, в завтра, он, наверное, почти догадывался о том, что происходит в душе учителя.

Неслышная мелодия этого диалога двух сердец, ученика и учителя, юноши и старика, и сегодня звучит для меня как пророческий реквием по целому поколению, шагнувшему со школьной парты прямо в войну и смерть.

Из воспоминаний, связанных с войной, в голове навсегда осталось несколько картин, четко запечатленных сцен, словно фотографий. В чем-то они случайны, но стоят перед глазами и сегодня. Первым в ряду таких фотографий памяти идет именно этот урок математики. С него начинается моя личная история войны. Со взглядов, которыми обменялись перед вечным прощанием учитель и ученик.

Я не знал близко того юного танкиста, а вот другой старшекласник, Костя, жил в одном со мной доме, этажом выше, прямо над нами, и был моим старшим школьным другом. Связали нас шахматы, с годами наша взаимная симпатия окрепла. Мне не могла не льстить дружба со школьником, который был старше меня на несколько классов, ему же, наверное, нравилось быть своего рода покровителем. Я выступал в роли его посыльного, когда он направлял меня с записками к своей белокурой симпатии Леле, первой красавице старших классов. Успел ли Костя пойти в своих отношениях с девушками дальше записок? Не уверен. Он ушел в военное училище, вскоре был досрочно выпущен из него и пропал без вести в самом начале войны на Южном фронте. У меня не сохранилось его фотографий, но Костя стоит второй фотографией памяти в моей военной галерее.

ВОЙНА

С зеленой горы бежала женщина в белом медицинском халате и что-то пронзительно кричала. А мы с моей матерью шли берегом моря и с удивлением смотрели на нее. Когда, наконец, можно было разобрать, что она кричит, мы услышали только одно слово, многократно и нараспев, словно плач-причитание, повторяемое: «Война-а-а!.. Война-а!»

Был ясный и жаркий полдень 22 июня 1941 года. Мы отдыхали вдвоем на Черноморском побережье.

Дня через три вернулись в Москву. Я пришел в тихую по-летнему школу и застал там несколько одноклассников. Ничего определенного не зная, все говорили о том, что скоро нам, комсомольцам, куда-то надо будет ехать. Эта новость не вызвала ни особого удивления, ни озабоченности. Раз надо, значит, надо.

И действительно, еще через день-другой, зайдя снова в школу, я узнал, что комсомольцам девятых и десятых классов надлежит явиться во двор соседней школы. Кроме комсомольцев, приглашались вообще все желающие ученики 9—10-х классов. Было сказано, что надо будет ехать куда-то из Москвы. Зачем и на сколько, никто не знал. Но причина поездки подразумевалась — война.

Дома у меня эта новость переполоха не вызвала. И сборов никаких не было. Может, потому, что в те дни еще никто не представлял всей серьезности случившегося. Короче говоря, утром в своем выходном костюме и полуботинках, в новеньком длинном демисезонном пальто я двинулся на сборный пункт. В дорогу захватил шахматы, полотенце, мыло, зубную щетку. Шахматы — под мышку, туалетные принадлежности распихал по карманам. И все! Никто меня не провожал, с отцом и матерью прощание было весьма сдержанным, без особых эмоций.

В чужом школьном дворе, через два переулка от нашего дома, толкалось несколько сот старшеклассников из близлежащих кварталов. Со стороны могло показаться, что они собрались на демонстрацию. Девчата выглядели особенно празднично, нарядно.

Наяривал крохотный духовой оркестр. Приходящих записывали у ворот. О цели всего этого мероприятия — ни слова.

Наконец, после долгого промедления, уже в полдень, всех построили и сделали переключку по только что составленному списку. Сказали, что комсомольцы и молодежь Москвы в связи с начавшейся войной направляются на выполнение специального задания. Коротко и абсолютно неясно! Впрочем, никто из нас, по-моему, и не беспокоился, куда и зачем. Важнее было — «надо».

Потом, уже когда завершилась вся эта эпопея, оказавшаяся, как и многое в то время, одновременно и героической и трагической, стало

ясно, что с самого начала переборщили с секретностью. Можно было бы, не вдаваясь в детали, попросить нас хотя бы экипироваться соответствующим образом, иначе собраться в дальний поход, из которого потом не все вернулись домой. Я помню, как , же на Днепре видел старшекласниц, которые на высоких каблучках бежали от бомб и пулеметных очередей с воздуха. Им бежать от смерти было труднее, чем нам в мальчишеских ботинках. И вот тогда меня вдруг осенило: «Что же это нас никто в Москве не предупредил, куда и зачем мы едем?»

Впрочем, в те первые дни войны, очевидно, мало кто и мог бы делать такого рода предупреждения. Во-первых, все мы готовились мгновенно уничтожить врага на его же земле. Это само собой разумелось. Во-вторых, официальные сообщения Совинформбюро с самого начала войны не могли вызывать особого беспокойства. Их уже сегодня читаешь иначе, зная, как все было на самом деле. А тогда, особенно на первых порах, эзоповский язык этих сводок мог только убаюкивать, а никак не мобилизовывать. Обрушившаяся на страну беда первых дней войны была так страшна, что ее всячески старались утаить. Вот строки тех первых сводок: «Противник был отбит с большими потерями», «Противник успеха не имел», «Противнику при его попытке наступать нанесено значительное поражение»... Более сложный вариант: «Соединения противника на этих направлениях отсечены от его танковых частей» (могли ли мы подумать тогда, что на самом деле это означало танковый прорыв?!). И еще в том же духе: «Наши войска вели бои с просочившимися танковыми частями противника». Затем уже последовало: «Наши войска продолжали отход на подготовленные для обороны позиции»... Но и это не очень настораживало. Враг напал внезапно. Еще несколько дней, мы развернем свои силы и погоним его хоть до Берлина!

...Итак, мы под оркестр двинулись нестройными рядами, но весело, с песнями через центр Москвы по направлению к Белорусскому вокзалу. Мы шли по улицам и площадям моего детства. Город в последний раз видел многих из нас.

Мне повезло. В тот летний день 1941 года я не знал, что мой путь навстречу войне, начатый этим маршем к Белорусскому вокзалу, приведет меня 24 июня 1945 года на Красную площадь, на Парад Победы. Парад запомнился на всю жизнь так же, как и расставание с Москвой, с детством, летом 1941-го. Шел я к Белорусскому вокзалу по залитой солнцем Москве, шел веселый и беспечный, а по брусчатке Красной площади — под проливным дождем, постарев на четыре военных года, радостный, конечно, и счастливый, но уже не такой беззаботный и легкий, как в 1941-м. В войне сгорели те четыре года, какие могли бы быть самыми лучшими из всех мною прожитых...

Даже прошедшие войну без царапинки были тяжело ранены. Все, кроме отпетых негодяев, для которых война с ее ужасами — родная стихия.

На Белорусском вокзале мы заполнили вагоны «электрички», к которым был прицеплен паровоз. Выглянул я из окна вагона на платформу и увидел, как прощались парень и девушка. Они обнялись и никак не могли расцепиться, когда наш поезд уже тронулся. Было в их расставании какое-то непонятное мне отчаяние, неутешное горе. Они были года на два постарше меня и, наверное, чуть больше знали о том, куда мы едем, и лучше понимали, что вообще происходит. А я, глядя на них, удивлялся безмерно их такой непонятной мне беде. И сегодня стоит перед глазами эта пара изваянием из двух слепившихся тел на перроне Белорусского вокзала.

Поезд тронулся и пошел на запад. А я нашел себе партнера по шахматам и, склонившись над доской, не видел, как убегала от меня Москва, а за ней и Подмосковье.

Из нашего класса, кроме меня, в вагоне было еще трое ребят — Андрей и два Бориса, «большой» и «маленький».

Нас недаром усадили в вагоны от «электрички». Путь был недолог. Нас доставили прямо на берег Днепра, точно в то самое место, где через него был переброшен мост шоссейной дороги.

Мы оказались в Смоленской области. Издешковский район, шестой строительный участок — таким был наш адрес.

Наконец нам объявили что к чему. Оказалось, мы будем строить оборонительные сооружения вдоль берега Днепра. Руководить нами будут строители московского метро.

Разместили всех тут же, неподалеку. Нам четверым и еще несколькими ребятами из нашей школы отвели сарай, довольно ветхое строение, но для лета вполне сносное. Натаскали мы туда веток и сена и расположились на ночлег.

Ранним утром нас накормили у походных кухонь, построили, разбили на отряды и выдали каждому по лопате. Показали, как ею пользоваться. Объявили, что работать будем круглосуточно, в три смены, а будет нужно — и в две. Вскоре тысячи юных новоиспеченных землекопов рванулись вдоль берега реки.

Нам поручили рыть противотанковый ров. Он тянулся вдоль левого берега Днепра, параллельно ему; где были начало и конец нашего рва, мы не знали. Был он для нас бесконечен, как и сама река. Если Днепр был естественной широкой преградой, то рву предназначалось быть искусственным препятствием на пути вражеских танков. Был он по сравнению с рекой вовсе пустяком — метра четыре шириной и два глубиной. Казалось бы, сразу напрашивался вопрос: если танки смогут преодолеть широкую реку, то станет ли наш четырехметровый ров для них серьезной преградой? Неужели, перемахнув через Днепр, они не одолеют с ходу узкий и неглубокий ров? Но тогда такой элементарный вопрос нам в голову не приходил.

Мы начали рыть влажную землю. Большинство — впервые в жизни.

Задание, которое было дано на смену каждой группе, состоявшей из нескольких человек, казалось чудовищным, невыполнимым. Нам объяснили, что это обычная средняя норма для такого рода земляных работ.

К середине первой рабочей смены загудели, затекли спины, почти у всех стерлись ладони. Но яма наша заметно углубилась и удлинилась.

Потом, через несколько дней, к удивлению нашему, оказалось, что необходимые в этом деле навыки приходят быстро. Мы добрались и до выполнения нормы и перевыполняли ее. Непривычно было работать в ночную смену, зато день после нее казался полноценным выходным.

На всем обозримом пространстве вдоль реки копошились в земле тысячи юных москвичей. Мы быстро втянулись в незнакомый до этого нам физический труд. Тяжело только было, вернее неприятно, когда приходилось работать по ночам на участках с сырой землей, стоя по колено в густой черной и холодной жиже.

Уставали, конечно. Но мучительным, изнурительным физический труд не оказался. Естественное предназначение человека, он был даже не в тягость, а скорее в радость. Впрочем, в 16 лет почти все легко и просто.

Работали мы у самого моста через Днепр. Шоссейная дорога была перед глазами. Ни днем, ни ночью движение на ней не прекращалось в обе стороны, на запад и на восток. Наше внимание больше привлекали те, что шли и ехали с запада. Измотанные и какие-то притихшие солдаты. Мы жадно расспрашивали их, как там, на фронте, дела. Мы были уверены, что фронт еще далеко от нас, от Днепра. Откуда нам было знать, сколь стремительным было наступление фашистских войск? Мы еще в июле спрашивали бойцов на шоссе о том, как дела там, на границе, а к тому времени Минск уже пал. Это случилось 28 июня... Много лет дата падения белорусской столицы была засекречена, столь неожиданным и обескураживающим был захват ее немцами на исходе всего первой недели войны.

Размеры военного бедствия были просто неопишуты. В известном документальном фильме «Великая Отечественная» говорится, что только в первый день войны было уничтожено 1200 наших самолетов. Несколько лет, предшествовавших 1941-му, мы читали и слушали о грядущей войне, но к таким потрясениям готовы не были. Полстраны двинулось под ружьем на Запад, полстраны — на Восток, в эшелонах, забитых эвакуированными и вывозимой техникой. И в это разнонаправленное движение десятков миллионов людей страшным смертельным клином вонзалась еще одна сила, поднявшая весь этот трагический хаос, — наступавшие немецкие войска. В первые месяцы войны скорость их продвижения была ошеломляющей. За узкими стрелами танковых прорывов, за своими спинами они нахально оставляли разметенные в разные стороны наши войска.

И как это ни парадоксально, именно в сказочных первоначальных успехах врага зародилось его неизбежное поражение. Не менее стремительным, чем наступление агрессора, был крах его блицкрига, на который тот стопроцентно рассчитывал. В мгновение ока было захвачено неизмеримо много, а конечная цель все же достигнута не была. И что самое главное — она даже не маячила впереди. Огромная потрясенная страна только-только начинала расшевеливаться и рычать, как разбуженный в берлоге медведь, чей гнев и ярость еще вырвутся вместе с ним из растревоженного лежбища.

Такого начала войны и последовавших за ним четырех ее лет вполне хватило бы для любого поколения в качестве одного главного испытания. Но с моим поколением судьба обошлась сурово. Трагедии сорок первого года суждено было разыгаться сразу вслед за трагедией тридцатых годов. И, несомненно, есть между ними самая тесная связь.

Закалилось или сломилось от этих испытаний мое поколение? (Правда, для качественной закалки был явный избыток огня и крови.) Впрочем, ответа на этот вопрос, пожалуй, нет. Потому что от поколения немного осталось. Оно полегло в родных и чужих землях от Волги до Берлина.

На другой день после падения Минска (о котором, повторяю, страна не знала), 29 июня, Совинформбюро сообщало: «Наступление танковых частей передового эшелона противника на Минском и Слуцком направлениях остановлено действиями наших войск. Танковые части противника несут большие потери». Кто мог подумать тогда, что «остановлено» означает захват Минска и что отныне «Минским направлением» в наших сводках будет называться уже продвижение противника на восток от Минска! Кто-то так и додумался называть эти направления именами городов не только тогда, когда враг шел на них с запада, но и тогда, когда, захватив их, шел дальше на восток.

Третьего июля 1941 года Сталин в своем первом после начала войны выступлении по радио остался верен себе и перед лицом наших катастрофических поражений заявил: «Лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты». «Гениальный вождь» тем самым дал команду, а уж Совинформбюро сумело этот его тезис развить как надо. Если сложить все потери немцев, подсчитанные в кабинетах Совинформбюро за всю войну, то, думаю, и населения тогдашней Германии не хватит, чтобы их покрыть. Уже в октябре 1941 года начальник Совинформбюро А. Щербаков писал в своей статье, что немецко-фашистские войска потеряли на Восточном фронте более трех миллионов убитыми, ранеными и пленными. В 1979 году в тексте к документальному фильму «Великая Отечественная» говорилось, что на нашу территорию в 1941 году вторглось пять с половиной миллионов немцев. А вот Сталин в своем докладе 6 ноября 1941 года заявил, что немцы потеряли к тому времени более четырех с половиной миллионов человек!

В сводке Совинформбюро от первого июля 1941 года мы читали: «Днем 1 июля наши войска вели упорные бои на Мурманском, Кексгольмском, Двинском, Минском и Луцком направлениях. На остальных направлениях и участках фронта наши войска удерживали госграницу и вели борьбу с противником, пытавшимся ее нарушить». А в те дни госграница как такая осталась только на нашем далеком Севере. Через три дня после падения Минска Совинформбюро сообщало: «На Минском и Двинском направлениях наши войска в ночь на 2 июля развернули боевые действия по уничтожению передовых танковых частей противника». Для нас это звучало, как начало разгрома немцев под Минском, а на самом деле они наступали дальше, уже захватив город...

Приносила ли пользу тогда вот такого рода «информация»? Сейчас трудно сказать. Но если такого рода «информация» и сыграла в те годы свою положительную роль, то только потому, что других источников информации практически не было (редкие в то время радиоприемники были у владельцев конфискованы в самом начале войны). Сейчас, сорок с лишним лет спустя, в наш транзисторный век, такая «информация» не только не проходит, она наносит страшной вред...

Мое поколение, вернее та небольшая часть его, которая не погибла и пережила войну, испытало на себе колоссальное воздействие так называемого «взрыва информации». Причем у нас он потряс всех людей и все основы с удесyтеренной силой. Ведь в довоенные годы все сто процентов информации о мире, окружающем нашу страну, исходили из наших же источников. Во время войны это железное правило было нарушено, когда мы, преследуя немцев, вступили на их территорию и в страны Восточной Европы и увидели неведомый нам мир.

Еще до этого, тоже в ходе войны, контакты с западными союзниками — США и Англией обрушили на нас много неожиданной информации. Мне запомнились встречи с американскими и английскими моряками на Северном флоте. Большие морские караваны, огибавшие с севера Скандинавию, доставляли на наши базы не только оружие, военное снаряжение и продукты, но и тысячи чужеземных моряков и офицеров. Личное знакомство с ними, с их образом жизни, так отличавшимся от нашего, вызывало удивление, порождало необычные мысли. Бросалась в глаза их раскованность, свободная манера поведения. Не могла не поражать их более чем солидная материальная обеспеченность, которая на фоне нашего существования выглядела прямо-таки богатством, роскошью. Странно было видеть у них отсутствие той крепкой дисциплины, которой отличался наш флот. И, наконец, завезли они к нам массовые венерические заболевания, чего до них наш Север не знал.

А наши солдаты и офицеры, которые пришли в Германию и страны Восточной Европы, вообще столкнулись с лавиной новых впечатлений. Со мной в военно-морском госпитале на соседней койке лежал молодой десантник, бравший Германию с моря. Война не оставила в его

душе такого следа, какой оставили немецкие деревни. Он, крестьянский сын, мог бы без конца рассказывать об увиденном там. Даже молодые немки, тоже поразившие его воображение, стояли на втором месте после деревенских впечатлений.

Тогда я с высоты моего столичного и флотского воспитания снисходительно выслушивал забавные истории, которые рассказывал мне этот милый паренек. Сегодня я вижу его в ином свете. С его неожиданно расширившимся кругозором, новыми знаниями, озаренными огнем войны, вижу я революцию информации, пережитую в те годы всей страной. Ту самую революцию, которая продолжается сегодня и набирает темпы.

Но вернемся в год 1941-й под Смоленск. Над нами то и дело летали вражеские самолеты, днем летали высоко, так как мост был защищен зенитной артиллерией, ее немцы побаивались. Наш ров они не бомбили вовсе. Очевидно, их специалисты считали эту нашу затею бессмысленной и к тому же притягивающей к себе десятки тысяч рук, которые можно было бы с пользой употребить в другом месте.

Для нас стало привычным делом наблюдать воздушные бои, которые часто сводились к поединку двух самолетов, нашего и фашистского. Даже когда в небе сталкивались несколько машин, они все равно обычно делились на пары и гонялись друг за другом по кругу.

По ночам фашисты то и дело бомбили мост. Мы жили в сарае совсем неподалеку от него, и под нами аж земля вздрагивала от разрывов тяжелых бомб. А однажды утром, проснувшись после такого очередного налета, мы с удивлением обнаружили, что угол нашего сарая был прошит крупнокалиберным пулеметом. Вероятно, немец стрелял на бреющем полете, но из нас никого не задело...

А какое благодатное тогда стояло лето! Хлеба выше головы! Урожай ожидался отменный...

Я ходил теми тучными полями с нашей стройки до Издешкова на почту. Туда, до востребования, писали нам из дому, оттуда мы отправляли письма в Москву. Один, так далеко от дома, в полях (несколько километров пути до почты) я никогда еще не бывал. В своем самом ярком летнем цвету открывалась передо мной наша земля в те дни 1941 года. Потом, уже отступая к Москве, я видел те же поля в огне. Потому, наверное, запомнились они так отчетливо в цвету, душистые, в зеленых волнах.

Июль 1941-го горячо ласкал Смоленщину, а с Запада уже и к ней подкатился враг. По многим тревожным признакам мы ощущали приближение беды, наше шоссе и наш мост через Днепр были зеркалом, отражавшим страшный лик идущего на нас фронта. Но нам никто ничего не говорил, не сообщал о действительном положении дел (ни сводки Совинформбюро, ни наши строительные начальники, ни бредущие по шоссе бойцы).

Впервые на понятном для нас языке кое-что определенное сказали нам оружейные раскаты. Шли они на нас с Запада, с того берега Днепра. И по-прежнему нам никто ничего не сообщал, но и без того было ясно, что фронт подошел к нам.

А мы продолжали рыть землю. И жили в нашем сарае. Привыкли уже к лопате, и оставалось время на откуда-то добытые книжки, шахматы, футбол.

В свободное время мы много говорили, чаще всего перед тем, как отойти ко сну. Это были по-настоящему серьезные разговоры. И главное — искренние (нам было по 16 лет!). Воспитанные четко по схеме «всех шапками закидаем», мы впервые сами увидели войну не в кино, а наяву. Разительный, вопиющий контраст между нашими представлениями и действительностью! И в спорах, разговорах мы искали выход из густой чащи недоуменных вопросов, которые вдруг встали перед нами. Прийти к чему-то определенному, додуматься до чего-то, найти хотя бы полубъяснение происходившему мы, конечно, не могли, но наши беседы несколько разгружали от свалившейся на нас тяжести непонятных открытий.

Мы так и держались вместе, четверо одноклассников — Андрей, оба Бориса и я. Постоянно вспоминали Москву и школу, как самое милое, родное и ушедшее. Едва только столкнувшись с войной, уже вовсе не задумывались о том, как это мы будем учиться дальше, в девятом классе. Даже самое главное в нашей жизни — учеба — отодвинулось куда-то из-за войны, которая, нам было уже ясно, еще многое сотворит с нами.

Под первые оружейные раскаты, громыхавшие еще далеко-далеко и едва доносившиеся до нас, мы проводили в Москву Бориса «маленького». Он тяжело заболел, температура была под сорок. Наверное, простудился, когда мы работали в ночную смену по колено в грязи. Через несколько дней, утром, когда мы собирались на работу, объявили общее построение. Один из наших метростроевских начальников сказал несколько слов, суть которых сводилась к следующему:

«Все работы прекращаются. Приказываю всем разбиться на группы по три-четыре человека и немедленно идти в восточном направлении по шоссе, на Москву. Если невозможно будет двигаться по шоссе, идти параллельно ему, все время на восток. Каждой группе взять по одной девушке и помогать им в дороге, не бросать их одних. Выходить отсюда сразу после того, как получите хлеб и сыр».

Мы взяли по краюхе хлеба, куску сыра и двинулись.

Было нас снова четверо. Вместо Бориса «маленького» девушка, не из нашей школы, незнакомая десятиклассница, она казалась много старше нас. Совсем не оробевшая, боевая, сильная, полногрудая девушка сама подошла к нам и сказала: «Можно я пойду с вами?»

Не было и намека на панику. Во-первых, молодость, которая ничего не боится. Во-вторых, полное отсутствие достоверной информации о положении на фронте. Мы спокойно, даже весело пошли вдоль шос-

се, по обочинным дорожкам и тропинкам, само шоссе было забито, да идти стороной, по зелени, в тени, было приятней. Нас поразила первая же деревня на пути. Почти все жители оставили ее. Значит, опасность была уже так близка? Очевидно, деревенские знали о положении на фронте получше нас, в общем-то изолированных от внешнего мира на нашей стройке. Пожалуй, впервые мы немного растерялись. Большая деревня без людей! Среди бела дня пустынно, как ночью.

Отыскали все же один дом с людьми. Пожилая пара, встретившая нас, была настроена мрачно. Уходить, как они сказали, не было сил, а оставались как на погибель. Женщина по-деревенски причитала над нами, как над уже попавшими в большую беду. Для нее мы были вовсе несмышлеными мальчишками.

Так шли мы, шли вдоль шоссе и вдруг затор. Говорят, впереди высадили немецкий десант и перерезал дорогу. Тут же откуда-то налетели самолеты, начали бомбить и расстреливать дорогу из пулеметов. Мы подались в лес. Куда идти? Вперед? А десант? Отошли по лесу от дороги с полкилометра, присели под кустом. Решили переждать бомбежку. Начали играть в карты — в подкидного дурака. Под грохот бомбежки. Это была не бравада и не дурачество. Просто, как и до этого, в нашем сарае у моста, было нестрашно. Объяснить это могу только молодостью.

В самый разгар «подкидного» над нашими головами раздался пронзительный свист бомбы. Он нарастал и нарастал, как будто ввинчивался в наши макушки. Наконец, через какие-то мгновения, он и вовсе оглушил нас. Но взрыва мы не услышали. Вдруг стало тихо-тихо, только треснули ветки и посыпались листья. В нескольких метрах от нас стояла торчком, воткнувшись в землю, бомба ростом с человека. В густом кустарнике она выглядела, помнится, серо-зеленой.

Мы быстро собрали карты и зашагали дальше, в сторону от шоссе. То ли мы обошли десант, то ли он был уже уничтожен, то ли его вообще не выбрасывали, не знаю. Снова зашагали вдоль шоссе, чтобы не сбиться с дороги.

Переночевали в поле, в сене. С утра двинулись дальше. Бомбить и обстреливать с воздуха стали чаще. Мы отбегали в сторону от дороги, в лес или кустарник, отсиживались там и потом продолжали путь.

То и дело наталкивались на такие же группки московских школьников. Обменивались, как теперь говорят, информацией. Узнавали о первых жертвах, убитых и раненых ребятах. Похоже было, что мы избежали главную опасность, не застряли в тылу наступающих острыми клиньями фашистских войск. Встречавшиеся нам рассказывали, что многие школьники из других строительных районов не успели выскочить так же благополучно, как мы, и оказались в тылу у немцев. Уже в те дни в наших сводках говорилось о «крупных боях на Смоленском направлении», которое неожиданно появилось в сообщениях вместо «Минского». На языке тех скупых сводок «крупные бои» могли означать наступление

очень больших сил, и ясно, что многим нашим сверстникам выбраться оттуда не удалось.

Возвращаясь на шоссе после очередной бомбежки, мы не раз видели ее страшные следы, разбитые и горящие машины, мертвецов и раненых. Я боялся близко подходить к ним. Дело в том, что уже около первого раненого, рядом с которым я случайно оказался, мне сделалось плохо. Молодой солдат был ранен в грудь. Он лежал на спине и стонал, зеленая гимнастерка потемнела от крови. К нему подбежал кто-то, очевидно, знающий в этом деле толк, и одним махом распорол на нем гимнастерку и рубашку под ней. Потом распахнул их на стороны, словно полы пальто. И тут я увидел вместо белой груди одно сплошное мясо, совсем как в магазине на прилавке, но только живое, чуть ли не дымящееся. Меня замутило...

На Смоленской дороге судьба вырвала меня из отрочества и бросила в суровый мир войны и взрослых людей. И побрел я в иную жизнь по самой многострадальной дороге России. Кто только не осквернял ее тяжелой поступью захватчика! Татары, немцы, поляки, французы... И обильной русской кровью каждый раз смывалась эта скверна. Но одно дело читать о Смоленской дороге в книгах, другое — самому идти по ней, по прибитой кровью пыли. Идти в шестнадцать лет под надсадный хрип отступающих. Идти, задыхаясь не от усталости или страха (ни того, ни другого, повторяю, по молодости не испытывал), а от неописуемого удивления: что же это происходит?!

В те дни над Смоленским трактом не звучали преступнолегкомысленные песни, расплывшиеся у нас в канун войны, песни о том, как мы мгновенно разобьем всех врагов на их же земле. Да, brave мелодии тех песен уже не были слышны, но они давили на души отступавших не меньшим грузом, чем походное снаряжение на их плечи.

Не раз потом писали у нас о нашей недостаточной готовности к войне (с точки зрения военной. технической, кадровой и т. п.), о наших просчетах. А как с моральным просчетом? Еще, наверное, хуже... И с тем большим величием проявилась по ходу войны главная сила, определившая ее исход, — русский характер. Недаром Сталин, едва придя в себя от потрясения первых дней войны, вдруг вспомнил в своем выступлении третьего июля 1941 года о великих русских именах. Он обратился к ним, как к спасительному талисману. А к народу, их породившему, он взывал как к «братьям и сестрам». Потом, как известно, ему пришлось вспомнить даже русскую православную церковь. Не она, конечно, внесла решающий вклад в нашу победу, но и без нее не обошлось.

...Не помню, почему, словно по наитию, у дорожного указателя «Гжатск» (ныне Гагарин) мы свернули в сторону и скоро добрались до железнодорожной станции. Была уже ночь. Наткнулись на порожний состав, отправлявшийся в Москву, забрались в пустой вагон. На рассвете были в Москве.

На Белорусском вокзале к нашему составу устремились часовые, проверили вагоны, извлекли нас и отвели в комендатуру. На всех четверых у нас был один документ — ученический билет Бориса. Он не произвел впечатления на дежурного, и тот спросил наши телефоны. В тот утренний час наши домашние оказались дома. Переговорив с ними и записав телефоны, дежурный отпустил нас. Через несколько минут я был дома и узнал, какое это, оказывается, блаженство принять ванну. А потом ел, наверное, не меньше часа.

От войны мы пока ушли, а от бомб нет. Москву бомбили. Вскоре, когда волна воздушных налетов на столицу прошла, оказалось, что особых повреждений нанесено не было. А выглядели эти налеты не то чтобы страшно, но эффектно, красочно.

Вначале немцы увлекались «зажигалками» — небольшими зажигательными бомбами. Думали, очевидно, спалить город. Но, по-моему, кроме Тишинского рынка, ничего более солидного не сожгли.

Я хорошо видел бомбежки с крыши, а одну — с Пушкинской площади.

На площади меня с моим одноклассником Андреем, тем самым, что был на Днепре, застала воздушная тревога. Надо было куда-то укрыться. А тогда в самом центре площади, на проезжей части, стоял, простите, общественный туалет. Он был запрятан под асфальтом и выступал над ним метра на полтора, деля проезжую часть на две стороны. Под вой сирены мы с Андреем сообразили, что до бомбежки можно скрыться от глаз патрулей именно в туалете, а потом высунуться наружу и без помех наблюдать за всем, ибо в центре площади наверняка не будет никого, никаких патрулей и видно оттуда во все стороны. Так и сделали. И не прогадали.

В тот раз к центру Москвы прорвалось несколько самолетов. Бросали много «зажигалок». Штук шесть упало на площадь. Их потушили. С ними научились управляться быстро. Где-то ухали и тяжелые бомбы, но не около нас. А в небе шарили десятки ярко-белых прожекторных лучей, освещая причудливые толстые «колбасы» — надутые огромные баллоны, по идее служившие преградой на пути вражеских самолетов. Время от времени белый луч вдруг выхватывал из черно-синего неба самолет, и тут же несколько других лучей скрещивались на нем и уже не выпускали обратно в темноту. К этому скрещению устремлялись цветные трассы пуль, а вокруг него рвались снаряды. Вся эта какофония звуков и феерия красок дополнялись тем, что немцы бросали на город осветительные ракеты. Подвешенные к небольшим парашютам, они медленно опускались на город, заливая светом его опустевшие улицы и площади.

Та тревога продолжалась несколько часов. Мы насмотрелись вдоволь.

Еще большее поле обозрения открывалось с крыши нашей школы. Когда мы вернулись с берегов Днепра, то сразу же направились в шко-

лу, где преподаватель физкультуры, Ефим Михайлович, зачислил нас в отряд противовоздушной обороны. Жили мы все рядом со школой и должны были по тревоге бежать туда и пулей лететь на крышу. Ждать там «зажигалки». Так мы и делали.

Несколько ночей просидели мы, когда на крыше, когда на чердаке, в зависимости от погоды. Всегда там были под руководством физкультурника пять-шесть ребят и наш школьный дворник. Однажды тяжелая бомба прошла насквозь подъезд многоэтажного дома метрах в ста от нас. Говорили, что погибло человек тридцать. «Зажигалок» на нашу крышу не падало, их вообще стали бросать меньше, перешли на бомбы, удивившись, что город не спалишь.

А вскоре пришло и наше последнее дежурство.

Было прохладно. Поэтому мы столпились не на крыше, а на чердаке. И мы еще не знали, что нам уже чудовищно повезло, когда мы решили не выбираться, как обычно, на крышу.

Затем заспорили с Ефимом Михайловичем. Он требовал, чтобы мы разделились на две группы и разошлись в разные концы чердака. А мы же категорически протестовали. Всем вместе, мол, веселее. А до «зажигалки» всегда успеем добежать. Как-то мы одолели нашего учителя и уселись в середине чердака. Так нам повезло в ту ночь во второй раз.

Снова где-то ухали бомбы, громыхали зенитки, трещали зенитные пулеметы... И вдруг раздался такой вой, что и на шоссе на Смоленщине. Он так стремительно нарастал, но тишиной не оборвался. Разодрав уши, вой потонул в грохоте взрыва и скрежете железной крыши. Похоже было, что она приподнялась и снова опустилась на прежнее место. Страшная пыль (поднявшаяся с чердачного пола) закрыла от нас все и мгновенно забила горло, нос и глаза. Мы оглохли и ничего не могли разглядеть. Показалось, что здание качнулось. Но мы никуда не упали. Не знаю, сколько секунд прошло до того момента, когда мы сделали первый шаг к выходу с чердака. Пробирались на ощупь. Только начали двигаться, обнаружили, что дворник ранен в голову. Остальные уцелели. Подхватили его под руки и наполовину несли, наполовину волокли. Труднее всего было на лестнице. Она качалась. За перила уже не схватиться. Пробирались по стенке, а она вся пошла трещинами. Кое-как спустились. Бомбой оторвало угол нашей школы, а около стены, на заднем дворе, образовалась большая воронка. Если бы мы по совету физкультурника разбились на две группы, расположившись по краям чердака, то одна, несомненно, погибла бы, причем не оставив после себя и следа. Так меня миновала моя вторая бомба.

Наступила осень 1941-го. На крыше полуразрушенной школы дежурить было уже невозможно. Я пошел в военкомат.

Жизнь была трагична и стремительна. Фронт неудержимо надвигался на Москву. К середине октября 1941-го немцы на западном направлении вышли на ближайшие подступы к столице.

В те дни я был, наверное, одним из самых беззаботных и счастливых москвичей, потому что только-только начал ходить в новенькой с иголки военноморской форме. Встретил в ней и 16 октября — самый трудный день в истории Москвы после осени 1812 года. Собственными ушами слышал сообщение по радио о том, что положение под Москвой значительно ухудшилось. Немцы вплотную подошли к Химкам. Сейчас на этом рубеже стоит монумент в виде гигантских противотанковых «ежей». Их увидишь вскоре после того, как выедешь из Москвы, следуя на Запад по Ленинградскому шоссе.

Мне пришлось в тот день идти пешком через всю Москву. В первый и последний раз за годы войны город кое-где поддался панике. Не работало метро, во многих магазинах продукты не продавались, а раздавались или растаскивались, тысячи жителей устремились к магистралям, ведущим на восток.

А через несколько часов я уже ехал в военном эшелоне, впервые в товарном вагоне, набитом до предела такими же юнцами, как я. Через открытую дверь вагона было видно, как на окраинах города москвичи строили баррикады, прямо на улицах устанавливали противотанковые «ежи». В те дни можно было прочитать в «Вечерней Москве» большую статью, которая называлась «Уличные бои».

...Наша школа стоит по-прежнему. В ее дворе сооружен памятник. Четыре фигуры — две девушки и двое парней. Они уходят. Один из парней прощально машет школе рукой. На постаменте надпись: «Школьникам Свердловского района Москвы, павшим в 1941—1945 г.г.»

И снова, как и в начале биографии моего поколения, звучит все та же песня «Погиб наш юный барабанщик...». Но слышится она уже не на улице, а только в душе моей. У каждого времени свои песни.

Говорят, что от мужской половины поколения 20—25-х годов осталось после войны только три процента. А сейчас сколько?.. Будто их и не было. Но они были. И была вокруг них тогдашняя жизнь. Вынуть ее из истории и выбросить нельзя. Без нее нет настоящего и будущего, которые вырастают из прошлого. При этом радость уходит с ушедшими, а горе, если оно не высказано и не оплакано, проступает родимым пятном в будущем.

СОДЕРЖАНИЕ

Корни	3
Родина	7
Школа	14
Трагедия	18
Театр	25
Книги	33
Накануне	42
Война	51

Владимир Дмитриевич НИКОЛАЕВ

МОСКОВСКИЙ РОМАНС

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор Т. Е. Авдеева

Сдано в набор 24.02.88. Подписано к печати 7.04.88. А 00328. Формат 70×108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80.
Усл. кр.-отт. 2,98. Учетно-изд. л. 4,42. Тираж 150 000 экз. Зак. № 2065. Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.